



**Pierre W. Orelus.** *Rethinking Race, Class, Language, and Gender: A Dialogue with Noam Chomsky and Other Leading Scholars.* Lanham, MD: Rowman & Littlefield Pub., 2011. 203 p.

Рецензируемая книга представляет собой сборник интервью, взятых автором у ряда известных исследователей феномена социального неравенства и различных форм дискриминации, а также идеологов расовой теории из США и Великобритании. Автор, Пьер Орелус, в прошлом школьный учитель, уже много лет сам работает в этой области; им опубликовано около десятка книг и монографий. Собирая материал для рецензируемой книги, Пьер Орелус на протяжении двух лет беседовал с Ноамом Хомским, Соней Нието, Зеусом Леонардо, Дэвидом Гиллборном и другими учеными. В результате получилась интересная подборка, где индивидуальный опыт интервьюируемых чередуется с их философскими размышлениями. Складывающаяся в результате общая картина получается неутешительной: большинство собеседников сходятся в том, что дискриминация в западном обществе по-прежнему существует и если она когда-нибудь исчезнет, то совсем не скоро.

Рецензируемый сборник позиционируется в том числе как учебный материал для курсов по расовой теории, образовательным наукам, социологии, гендерным и постколониальным исследованиям. Стоит отметить, что все поднятые проблемы географически ограничены США и (в меньшей степени) Великобританией, причем иногда сравниваются ситуации в этих двух странах (см. интервью с Д. Гиллборном. Р. 17–29).

**Ольга Александровна Блинова**  
 Московский государственный  
 институт международных  
 отношений (Университет)  
 МИД России  
 blinova.o@gmail.com

Сборник также может быть интересен широкому кругу читателей, интересующихся вопросами дискриминации. Он носит междисциплинарный характер и не требует в большинстве случаев от читателя глубоких познаний в сфере исследования дискриминации, но перед прочтением будет целесообразным ознакомиться с основными положениями критической расовой теории (Critical Race Theory), к которой апеллируют и на которую ссылаются большинство собеседников П. Орелуса.

Кроме того, один из интервьюируемых, К. Грант, довольно долго рассуждает о сходстве между принятыми в США «межкультурным» (intercultural) и в Европе «мультикультурным» (multicultural) образованиях, но не приводит никаких разъяснений для читателя, что же представляют собой эти две образовательные концепции (Р. 86). Вероятно, подразумевается, что целевая аудитория книги уже знакома с этими понятиями, поскольку в других случаях П. Орелус просит собеседников объяснить очевидно незнакомые термины, например предложенное П. Маклареном понятие «критическая педагогика» (Critical Pedagogy) (Р. 100).

Отметим, что, несмотря на заявленные в заголовке книги потенциальные причины дискриминации — раса, класс, язык, гендер — раса занимает главенствующее положение в большинстве интервью. Более того, ряд информантов обращают особое внимание на то, что расовые различия оказываются важнее классовых, гендерных и др.

Некоторые вопросы, которые П. Орелус задает своим собеседникам, повторяются из интервью в интервью. Это связано с тем, что автор стремится собрать различные точки зрения на определенный круг проблем (Р. хххi). Согласны ли вы с позицией марксистов, ставящих классовое неравенство выше расового? Означает ли избрание Б. Обамы на пост Президента США, что мы живем в пострасовом обществе? По вашему мнению, это поможет искоренить расовое неравенство или, наоборот, лишь усугубит его? Можете ли вы назвать наше современное общество пострасовым? Наступит ли однажды время, когда общество будет свободно от расовых предрассудков?

Первостепенность именно расового вопроса обусловлена во многом политической ситуацией в США на момент работы над рецензируемой книгой. Избрание первого в истории чернокожего президента не могло не наложить отпечаток на публичный дискурс и не возобновить дебаты о расовом равенстве в стране (Р. хii; 1). Все интервьюируемые так или иначе комментируют как президентство Б. Обамы (его позицию по расовому вопросу, вернее, отсутствие таковой), так и возможные последствия для расовой борьбы в стране в будущем. Если до

избрания Б. Обамы в американском публичном дискурсе считалось хорошим тоном избегать расовых вопросов (предполагается, что США построили пострасовое общество), то развернувшаяся в прессе полемика после выборов только доказала, что расовое равенство не более чем иллюзия. Все интервьюируемые приводят примеры, когда объектом нападок становился и сам президент, и его раса, и его неамериканское происхождение, и даже его попытки имитировать чуждый ему черный американский акцент (Р. xii; 13; 150–152).

В то время как политику Б. Обамы в сфере устранения социального, расового и других типов неравенства разные участники беседы оценивают по-разному, во «вскрытом нарыве» общественного диалога все они усматривают прежде всего положительные стороны. Практикующие педагоги жалуются, что расовые вопросы так долго оказывались под негласным запретом, что их было тяжело обсуждать в классе. Знакомство с ними вследствие этого оказывалось фрагментарным и приносило больше вреда, чем пользы. Кроме того, постоянные опасения задеть как-либо расовые моменты привели к тому, что раса как таковая исчезла из поля обсуждения, и это создало иллюзию отсутствия проблем. То же, впрочем, можно отнести и к другим формам дискриминации (гендерной, языковой и т.д.). Сейчас общество гораздо более открыто к дебатам по поводу расы (Р. 134).

Другой важный аспект, упоминаемый большинством информантов, — неравенство возможностей и дискриминация в области образования. Популярность этой темы, может быть, отчасти вызвана не только априорной важностью образования как такового, но и тем, что абсолютное большинство собеседников П. Орелуса заняты преподавательской и исследовательской деятельностью в вузах США и Великобритании, а потому эта область им наиболее знакома и близка.

В книге прослеживается и довольно явная политическая линия критики капитализма в неомарксистских традициях (в частности, в интервью с Н. Хомским и П. Маклареном; последний является автором введения к рецензируемой работе). Выдвигается тезис, что существующее неравенство, будь то классовое, расовое и т.д., есть продукт капиталистических отношений в современном западном обществе. Эти беседы порой принимают более глобальный масштаб; так, П. Макларен говорит об общемировой экспансии американского образования, которая влечет за собой утрату национальной образовательной традиции в других странах (Р. 103).

Н. Хомский, наверное, наиболее известен отечественному читателю из всех участников бесед с П. Орелусом. Будучи линг-

вистом, Н. Хомский не обходит стороной проблему доминирования английского языка в современном мире; кроме того, он демонстрирует, как один региональный вариант английского языка (британский) уступил главенствующую роль другому (американскому) вслед за перераспределением политического влияния на мировой арене. Стоило США стать ведущей мировой державой, как американский вариант английского языка перестал восприниматься как диалектный<sup>1</sup> и стал стандартным (Р. 117).

Наконец, немалая роль отведена в беседах и специфичной американской стороне расового неравенства, а именно истории рабовладения и последующей борьбы за равноправие (Р. 14; 27).

К сожалению, интервью не сопровождаются никаким комментарием, кроме краткого содержания беседы в начале каждой главы. Дело в том, что во многих интервью встречаются моменты, которые вызывают непонимание. Так, З. Леонардо называет ироничным то, как цветные люди цепляются за свою расу. По его мнению, цветной человек проигрывает при этом больше, чем выигрывает (Р. 48). Достаточно спорно, и наверняка многие с ним не согласятся. Жаль, что П. Орелус не останавливается на этом подробнее. Общий тон сборника скорее говорит о необходимости всем угнетенным группам держаться вместе и сотрудничать, что неоднократно повторяет в своем интервью Э. Бонилья-Силва (Р. 155).

Хотелось бы уточнить и такую деталь беседы с З. Леонардо. Он говорит о том, что многие цветные исследователи начинали как марксисты, но потом отвернулись от основных цветных классиков марксизма, потому что те ставили на первое место проблему класса, а не расы. При этом в качестве примера такого цветного идеолога Леонардо приводит Че Гевару (Р. 42). Однако в силу реалий аргентинского общества не правомернее ли было бы отнести Эрнесто Гевару к доминантной группе представителей белой элиты Латинской Америки, в то время как угнетенной «не белой» группой по отношению к нему будут потомки коренных индейских народов?

К сожалению, охватить весь спектр неравенства в современном западном обществе едва ли возможно в пределах одной книги. Практически за рамками обсуждения остался вопрос гендерного неравенства (дискриминация женщин упоминается лишь вскользь несколькими интервьюируемыми), а расовые проблемы рассматриваются преимущественно применительно

---

<sup>1</sup> Н. Хомский использует слово «диалект» не в широком смысле как «региональная разновидность языка», а в узком и, в данном контексте, немного уничижительном, как «региональная разновидность языка, отличающаяся от нормы» [Trudgill 1995: 184–185].

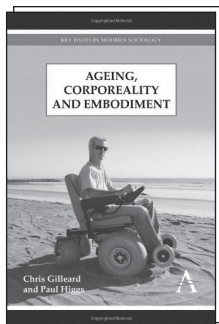
к людям африканского и латиноамериканского происхождения. За кадром остается дискриминация на национально-религиозной почве — остро вставший в последние годы вопрос, особенно касающийся мусульман. Возможно, все эти моменты будут освещены в дальнейших работах. Немного странно, к сожалению, для российского читателя выглядит и сетование Д. Гиллборна на то, что феминисткам якобы не приходится постоянно оправдывать состоятельность предмета их исследования, в отличие от теоретиков расовых исследований (Р. 22).

Книга П. Орелуса интересна и в контексте современного российского общества. Сегодня, когда столь часто поднимаются вопросы толерантности, национализма, миграционной политики, не так уж просто представить издание подобного сборника интервью в России, да и на постсоветском пространстве в целом. Играет свою роль отсутствие соответствующих кафедр в вузах и в принципе отсутствие традиции изучения других типов неравенства, кроме классового. Пока еще в русском языке не сложились нормы языковой политкорректности. Собранные в работе интервью заставляют задуматься, существует ли потребность в таком сборнике на отечественном материале? Какие вопросы задали бы мы отечественным исследователям форм дискриминации?

#### Библиография

*Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society. L.: Penguin Books, 1995.*

*Ольга Блинова*



**Chris Gilleard, Paul Higgs.** *Ageing, Corporeality and Embodiment.* L.; N.Y.; Delhi: Anthem Press, 2013. 212 p.

Книга Криса Гильярда и Пола Хигса «Старение, телесность и воплощение» ставит действительно актуальный как для самого общества, так и для теоретиков этого общества вопрос телесного воплощения процесса старения. Данная работа представляет собой основательный труд, как бы ни банально это звучало. Авторы в лучших традициях американской гуманитарной мысли четко, структурированно, понятно и логично излагают материал, объем и разнообразие которого легко бы могли стать поводом для десяти томника или целой энциклопедии, посвященной вопросу телесного измерения культуры. Подобная книга с легкостью может быть представлена как толковое учебное пособие для студентов-социологов, всерьез интересующихся вопросами телесного в современном постиндустриальном обществе. Здесь есть и изложение уже существующих теорий, и оригинальные размышления самих авторов, и обширный набор примеров, замечаний и наблюдений из истории становления современных режимов телесного. Основной же акцент в книге уделен процессу трансформации и разнообразию логик телесного в массовой американской культуре последних десятилетий.

Гильярд и Хигс берут за точку теоретического отсчета очередной поворот, произошедший не так давно в гуманитарных науках, а именно поворот соматический. Данный поворот имеет как своих отцов-

**Любава Евгеньевна Шатохина**  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге  
lshatokhina@gmail.com

основателей, так и верных учеников и приверженцев, кратко, но довольно исчерпывающему описанию идей которых и посвящена большая часть вступления и первой главы книги. Однако, как справедливо замечают исследователи, повернувшись к телу, социологи оставили вне поля зрения важное измерение данного вопроса, а именно возраст. Стареющее тело, телесность и работа времени каким-то странным образом ускользают от внимания развернувшихся к человеческой плоти гуманитариев.

Доказательство существования соматического поворота в теории и новых режимов телесного в жизни иллюстрируется авторами книги не только через обращение к уже ставшим классическими работам по телесности таких авторов, как Фуко, Мерло-Понти, Бахтин, Элиас, Батлер и многие другие, но и через краткий анализ основных измерений и практик телесного. Авторы разбирают ряд различных измерений нашей идентичности (гендер, раса, инвалидность и сексуальность). И каждой из этих идентичностей посвящена отдельная глава, выстроенная по модели: теория, история, современность. В следующих за ними четырех главах по той же схеме осуществляется разбор отдельных практик, в которые вовлечено тело стареющего субъекта: секс, различные способы одеваться и пользоваться косметикой, фитнес и улучшающая (aspirational) медицина.

Отправной точкой всех размышлений о смещении и трансформации режима телесного в современном американском обществе является для авторов культурный сдвиг, произошедший в 60-е гг. XX в. и имеющий последствия по сей день. Переломный момент в отношении к социальному факту и практикам старения случился в ту пору, когда молодые люди эпохи культурных революций и бунтов 1960-х столкнулись с действительностью собственной биологической старости. Именно этот сюжет и становится той красной нитью, которая сшивает не то чтобы разнородные, но довольно разнообразные подтемы, к которым обращаются авторы, в одну книгу.

Во вступительном разделе работы читателю предлагается набор основных категорий, вокруг которых будет выстраиваться последующий анализ. Основные четыре единицы представляют собой: «телесность» (corporeality), «воплощение» (embodiment), «воплощенные идентичности» (embodied identities) и «воплощенные практики» (embodied practices). «Термин “телесность” используется для того, чтобы обозначить относительно не опосредованную материальность тела» (Р. ix). «“Воплощение”, с другой стороны, относится к телу как к движущей силе или посреднику социального действия» (Р. ix). «Термин “воплощенные идентичности” относится к идентич-

ностям и стилям жизни, основывающимся на наборе коллективно разделяемых (осознаваемых) телесных отличий» (Р. ix). «Под “воплощенными практиками” мы понимаем все те практики заботы о себе и самовыражения, которые опосредованы обществом в и через автономные тела» (Р. ix). Вся структура рассуждения строится по принципу разделения ключевых категорий по парам: телесность — воплощение, идентичности — практики.

Первый раздел книги, который озаглавлен «Идентичность, воплощение и соматический поворот в социальных науках», некоторым обзором подготавливает читателя и выстраивает базу для последующих аргументов. Авторы обращаются к революции 1960-х во всех крайностях контркультурных проявлений данной эпохи. Именно в этот момент, по их мнению, тело появляется и актуализируется как в пространстве повседневного опыта, так и в теоретических дебатах. Однако парадокс заключается в том, что в жизни молодежных контр- и субкультур это тело однозначно является исключительно юным, тогда как в дискурсе социальных наук наша плоть представляется атемпоральной данностью, которая не подвержена изменениям во времени.

Дабы разобраться в подобном теоретическом упущении, авторы предлагают свой разбор основных теорий телесного в трех налагаемых друг на друга плоскостях.

- Основная, по их мнению, плоскость рассмотрения — это как раз осмысление самой телесности (Фуко, Мосс, Мерло-Понти, Гоффман, Элиас, Бахтин, Делез и Гваттари). Данный уровень анализа наиболее обширный, он создает что-то вроде фона для всех остальных рассуждений.
- Следующий, средний (мезо) уровень представляет собой пространство измерения современного консюмеризма (Гидденс, Бауман, Лефевр).
- Верхний, самый прозрачный и тонкий, слой — это возрастное измерение темы, то есть изучение вопроса старости и старения (Фёзерстоун, Биггс, Гуле).

При этом таксономия теорий усложняется наложением поверх этих уровней ряда предметных сфер, таких как гендер, раса, инвалидность и сексуальность. Именно в наложении друг на друга этих трех уровней и четырех плоскостей Хиггс и Гильярд будут разворачивать и прорисовывать контуры собственного исследования по теме телесности и старения.

Вторая глава представляет развитие режимов телесного воплощения в исторической перспективе. Как утверждают авторы,



ссылаясь на ряд источников, домодерная культура, вследствие доминирования в ней визуального измерения, была связана с биологической формой старости, тогда как модерность начинает ориентироваться не на биологическую составляющую возраста, а на хронологическое его измерение. Вторая же модерность, которая начинается с 60-х гг. XX в., вновь возвращается к телу (биологии), что ярко проявляется в обществе массового потребления, которое существует по стандартам «молодежной» культуры (нормам молодого тела). Именно в 1960-е гг. старение становится социальной и культурной, личной и общественной проблемой. Ближе к сегодняшнему дню, а именно в 1980-е, идея возраста жизни подменяется идеей образа жизни и дополняется риторикой вечной молодости и ее сознательно-го поддержания и параллельно ведущейся борьбой со старостью. Модерный хроноцентризм сменяется телоцентризмом новой модерности, где старость может быть отложена или преодолена через работу над / с телом.

Непосредственный разбор воплощенных идентичностей начинается с обращения к гендерному аспекту телесного воплощения западной культуры. Читателю показывают, что в домодерную и модерную эпохи как старение, так и телесность относились лишь к мужскому измерению культуры. Только в 1960-е, во время сексуальной революции, женское тело выходит на первый план. Женщина «овеществленная» в современной культуре при этом оказалась втянутой в погоню за «вечной женственностью», осуществляющейся в форме либо вечной молодости, либо «достойного», «красивого» старения. В случае же с мужским телом в пространстве массовой культуры потребления начинает главенствовать нарратив «вечной функциональности» в отличие от риторики вечной «продуктивности», характерной для осмысления мужского тела в эпоху первой модерности.

Четвертая глава книги касается важного для Америки вопроса расовой идентичности в контексте изучения телесности и старения. Речь здесь идет именно о расе (фактически табуированном сегодня слове), так как именно она через биологические проявления тела, прежде всего цвет кожи, является воплощенной частью идентичности. Раса (как и гендер) чаще всего игнорируется геронтологами, между тем этот аспект старости все же проявляется через понятие «удвоенной уязвимости»: быть пожилым и быть не белым. В исторической же перспективе белое и черное тело вплоть до середины XX в. представляли собой два различных вида, кардинально отличных как на биологическом, так и на социальном уровне. Однако в 1960-е гг. положение черного тела в культуре радикально меняется. Идеи торжества черной идентичности, представленного такими

движениями, как «Черная гордость», «Черная сила», становятся неотъемлемой частью доминирующей культуры молодости, в которой новые черные иконы выходят на рынок массового потребления. В дальнейшем этническое становится важным аспектом стиля жизни и практик потребления. В нашем веке цвет кожи начинает приобретать значение в процессе старения в том числе и потому, что «требует» спецификации потребительских практик, продвигаемых агрессивными маркетинговыми компаниями по борьбе со старостью.

Не менее важным аспектом старения авторы считают его отношение к инвалидности. Несмотря на кажущееся сходство и общие места, исследования о старости и инвалидности почти не соприкасаются. Так, забота о «неполноценном» теле вплоть до конца XIX в. была связана исключительно с уходом за детьми и подростками. В эпоху мировых войн инвалидность как проблема (даже трагедия) — это приобретенная инвалидность молодого тела. В результате молодежных контркультурных выступлений в 1970-х гг. появляются движения за права инвалидов, которые выдвигают соответствующие духу времени лозунги: борьбы за аутентичность, стиль жизни, свободу и уважение. Но они все так же говорят исключительно о молодом, пусть и ином теле. Эти требования не ограничиваются идеями включения и равноправия, но резонируют с идеологией разнообразия потребления. Задачей общества становится построение «позитивного образа» инвалида, закрывающего глаза на его явно видимые различия, т.е. на телесность.

В 1980-е с развитием идей постструктурализма телесное измерение возвращено инвалидности через признание, а не сокрытие физических страданий «неполноценного» тела. Однако до сих пор инвалидность, снова получившая свое телесное воплощение, представляется как нечто вневременное, т.е. не имеющее прямого отношения к старению и возрастным изменениям. И хотя старики и инвалиды в общественном дискурсе находятся в одном положении относительно функциональности и здоровья, их статусы сильно разнятся. А единственная сфера, готовая соединить эти два аспекта человеческой телесности (техника, помогающая «неполноценному» телу), исключена из повестки дня по меркантильным соображениям: тот, кто не может платить, не достоин внимания.

Последняя глава раздела, который повествует о различных аспектах идентичности, посвящена вопросам сексуальной ориентации. И здесь события 1960-х гг. тоже играют решающую роль. Но как и другие воплощенные идентичности, сексуальность является атрибутом молодости, а старость видится в контексте постепенного угасания сексуальности. Тем не ме-

нее в процессе старения гей-активистов 1960-х и распространения эпидемии СПИДа в 1980-х в 1990-е гг. становится ясно, что гей-сообщество не является исключительно феноменом молодежной культуры. Именно тогда квир-исследования обращают внимание на процессы старения. Представители квир-культуры демонстрируют отличающиеся от гетеросексуалов модели старения. Так, если верить ряду исследователей, геи, живые иконы консюмеризма и культы тела, становятся на тропу войны против старости, тогда как лесбиянки, отвергающие стереотипы «женственности», с большей легкостью примиряются со старостью тела. Однако самым важным здесь является то, что изучение квир-сообщества вносит дополнительное измерение в исследования старения. Квир-дискурс отказывается от бинарности в пользу более сложных и изменчивых идентичностей. Если основываться на этой логике, то возраст может быть представлен как позиция инаковости, а не отклонения от нормы юности.

Начиная с седьмой главы авторы переходят от разбора вопросов идентичности к практикам осуществления возрастных и телесных различий. Первой практикой, которая подвергается подробному разбору в книге, становится секс. Здесь опять кардинальные изменения связаны с сексуальной революцией и молодежной культурой как ее движущей силой. Из вопроса приватного секс становится вопросом публичным, даже политическим. Секс теперь является важной частью потребительского габитуса и тем самым помогает становлению целых индустрий. В общественном дискурсе секс становится безусловной добродетелью и необходимой составляющей физического и психического здоровья. И если ранее секс фактически исключался из представления о старости, то теперь активная сексуальная жизнь стала важной частью проекта успешной старости. Постепенно меняется и характер индустрии, обслуживающей «возрастной» (да и любой другой) секс: с психиатрии и психоанализа в сторону фармацевтики и медицинского вмешательства. Но с точки зрения критической перспективы, вся эта одержимость сексом приводит к новым формам подавления, а именно к требованию быть не только вечно молодым, но и вечно сексуальным.

Тело постоянно выдает наш возраст, но в ситуации, когда мы хотим это предотвратить, существует набор техник, которые нам здесь помогают: практики использования косметики, одежды, моды. Еще до середины XX в. все это было достоянием лишь небольшой группы элит, но вот уже почти век продукты ухода за собой и мода являются не маркерами роскоши, но насущной необходимостью. В самом начале зарождения индустрии красоты в фокусе внимания было лишь молодое тело,

чьи стандарты задавались в качестве эталона на телевидении и в массовой рекламе. Однако в 1980-е гг. пожилые люди начинают рассматриваться в качестве потенциальных покупателей / потребителей. В связи с этим появляется новое подразделение внутри индустрии красоты, «космецевтика» (cosmeseuticals) — гибрид косметологии и фармацевтики. В нашем веке антивозрастные продукты ориентированы не только на пожилых, появляется и целый ряд превентивных продуктов и услуг, продвигающих идею профилактики старения в любом возрасте. Примерно в том же направлении идет развитие модной индустрии, которая еще в середине прошлого века ориентировалась исключительно на молодых покупателей, тогда как сегодня возрастной сегментации рынка одежды для взрослых почти не существует.

Другой важной практикой проекта успешного старения становится фитнес. Фитнес в пожилом возрасте преследует собственные цели: противостояние болезни, старости, лишнему весу. Массовым феноменом фитнес становится только в 80-е гг. XX в., до этого он был уделом детей и юношества, а в зрелые годы физкультура была занятием исключительно мужским. Интересна и смена идеологической модальности физической нагрузки и спорта в XX в.: от идеи здоровья нации к идее индивидуальной заботы о себе. Фитнес нашего времени укоренен в идее и даже одержимости «воли к здоровью», выбрасывающей за рамки нормы всех, кто ее не разделяет. Превращаясь в массовую индустрию, фитнес, постоянно откладывая конечное удовлетворение результатом, втягивает людей в процесс еще более интенсивного потребления сопряженных услуг и товаров. Кроме того, фитнес и физические упражнения становятся важной частью досуговых практик в ситуации, когда работа все меньше связана с физической нагрузкой.

В последней главе, посвященной практикам новой воплощенной старости, авторы обращаются к медицине, которая сегодня трансформируется в медицину улучшающую (*aspirational medicine*). Существующая в обществе массового потребления вера в то, что вещи могут и должны становиться только лучше, приводит к идее позитивного здоровья: постоянной оптимизации и улучшения всех показателей. В сфере пластической хирургии, которая становится важной силой в процессе противостояния старению тела, стирается грань между медицинскими и косметическими процедурами. «Омолаживающие» процедуры и технологии, которые ранее в среде серьезных медиков и ученых рассматривались не иначе как шарлатанство, становятся все более привилегированным предметом исследования. Распространяющиеся практики пластической хирургии сменяют границы власти между врачом и пациентом: теперь

именно пациент контролирует и решает, каким образом его тело должно быть модифицировано, что дарует пожилому телу большую степень агентивности. В поздней модерности стареть или не стареть становится делом личного выбора.

Подводя итоги, авторы приходят к выводу, что времена второй модерности, общества потребления и досуга — это возвращение к более телесно воплощенному обществу. В 60-е гг. XX в. появляется новое критическое прочтение телесных идентичностей, которое отказалось от биологического эссенциализма и социальной устойчивости идентичностей в пользу дискурса выбора. В связи с этим десятью годами позже начинает развиваться новый проект «успешного / позитивного» старения. Присущая новоевропейскому представлению о времени необратимость сегодня вступает в противоречие с конюмеристскими идеями вечной молодости и постоянного совершенствования. Критики общества потребления видят в этом новом прочтении отношения к телу дополнительный источник подавления и маргинализации тех, кто не в состоянии или сознательно отказывается симулировать отсутствие старости. Тем не менее авторы книги не столь пессимистичны и утверждают, что сегодня тела действительно могут стать и становятся «лучше».

Одновременным достоинством и недостатком книги, с моей точки зрения, является масштаб рассмотрения. Авторы дают такой обширный теоретический и исторический разворот темы, что в итоге создается эффект контурной карты, негативным последствием чего становится утрата важных деталей, полутонов и нюансов. В недавнем обзоре исследований, посвященных как раз вопросу старения и тела [Clarke, Korotchenko 2011], много раз проговаривается тот факт, что результаты исследований часто противоречат друг другу, что совершенно нельзя утверждать однозначность тех или иных выводов, а иногда трудно проследить и какую-либо тенденцию. В книге же все настолько четко, структурно выверено и почти всегда однозначно, что стоит только позавидовать гению авторов, которые знают, как оно было на самом деле (теле), начиная с эпохи античности и до наших дней.

Между тем из текста становится совершенно ясно, что речь идет не просто о режимах телесного в какой-то абстрактной западной культуре, а конкретно о ситуации в США сегодня, но авторы нигде отдельно не проговаривают данный факт. Исходя из логики их изложения описываемые ими процессы более или менее схожи для всех культур, вставших на путь массового потребления. Дело тут не в том, что можно было бы показать телесность во всем ее многоликом культурном и этническом

разнообразии, но в том, чтобы четко отдавать себе отчет: речь идет исключительно о североамериканском обществе XX–XXI вв. Возможно, только в этом контексте заявления о неоспоримой важности культурной революции 1960-х и необратимости ее последствий для последующего развития общества имеют смысл. Хотя лично я не стала бы так однозначно говорить о полном, тотальном, непреодолимом разрыве преемственности, которое происходит во всех сферах культуры, в том числе в отношении телесного во всех его проявлениях.

Если же согласиться, что в книге описаны сюжеты, непосредственно связанные лишь с американской культурой повседневности последних десятилетий, то и здесь нельзя говорить, что мы имеем дело с однозначными, однонаправленными тенденциями. Совершенно справедливо беря в оборот своего анализа такие аспекты, как гендер, сексуальную ориентацию, расу, наличие или отсутствие инвалидности, постоянно добавляя к этому измерение возраста, авторы все-таки упускают из виду такую важную для идеологий и практик потребления характеристику, как социальный статус / класс / материальный достаток. В связи с этим то, о чем идет речь в книге, — это некий усредненный портрет, среднестатистический анализ человека с улицы, который может дать нам некоторое представление, но страдает от довольно большого количества натяжек.

Вполне справедливое и аналитически оправданное разделение на конкретные уровни анализа, определенные характеристики идентичности, а также специфические практики повседневности в итоге превращает сложнейшие феномены и процессы в обществе в схематичные и упрощенные фигуры. Стоит отдать должное тому, что авторы пытаются совместить перспективу идентичностей с практиками воплощения телесного. Однако в итоге получается довольно искусственное наложение по законам жанра, а не исходя из логики самого материала. Эта же проблема материализуется во многих других вопросах, которые авторы отдают на откуп конвенциональности дисциплины. Ведь даже сам вопрос о том, какой возраст считать пожилым, остается в книге за скобками. Утверждая, что практики борьбы со старением сегодня — это не только удел пожилых, авторы фиксируют некоторую данность, но при этом как бы не замечают важности тех вопросов, которые оставляются ими в стороне.

Вероятнее всего, мое легкое чувство недовольства или скорее неудовлетворенности от данной книги связано не с недочетами авторов, а с моей собственной дисциплинарной и идеологической позицией. Как антропологу мне не хватало деталей, микросюжетов, разнообразия и сложности. Как человеку, кри-

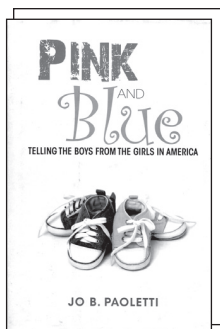
тически относящемуся к культуре массового потребления и конюмеризму, мне не хватало твердой позиции обличителя тех моделей подавления, которые испытывают на себе сегодняшние стареющие тела.

Несмотря на всю высказанную выше критику, нельзя не отметить, что книга представляет богатейший материал по вопросам тела и старения, тщательно разобранный и структурированный авторами. При этом каждый волен решать, насколько данная структура является адекватной материалу и соответствующей сложности представляемой реальности. Книга изобилует точными примерами, интересными замечаниями и любопытными наблюдениями. Авторы со всей серьезностью и систематичностью разбирают идеи своих предшественников и коллег. Книга, безусловно, способна раздразнить любопытство читателя, одарить исследователя неисчерпаемым материалом для собственного анализа, порадовать знатока масштабностью и размахом анализа темы.

#### Библиография

Clarke L.H., Korotchenko A. Aging and the Body: A Review // Canadian Journal on Aging. 2011. September. Vol. 30. No. 3. P. 495–510.

*Любава Шатохина*



**Jo B. Paoletti.** *Pink and Blue: Telling the Boys from the Girls in America.* Bloomington, IN: Indiana University Press, 2012. 169 p.

### Платья мальчиков в складку, а платья девочек в сборку

Современная детская мода живет не по тем законам, что взрослая. Носить один и тот же фасон целый век — разве взрослая мода в XX в., не говоря уж про XXI, потерпела бы такое? А платья «американского» фасона (прямая юбка в сборку или в складку на небольшой кокетке) как вошли в моду для девочек в Америке и России в 1900-е гг., так и не выходили из нее сто лет [Васильев 2008: 161]. Да и сегодня вы без труда можете найти их в американских интернет-магазинах, если наберете в строке поиска “smocked dress”. Одежда в самом дорогом сегменте рынка наиболее старомодна — разве это является правилом в мире «прет-а-порте»? А для детей (см., например, некоторые снимки из серии «Маленькие взрослые» Анны Складманн: <<http://www.annaskladmann.com/>>) круглые белые воротнички, короткие штанишки, приталенное платье с расклешенной юбкой и рукавами-фонариками в стиле 1950-х гг. и прочие старомодные вещи считаются особым шиком и дорого стоят.

**Ольга Юрьевна Бойцова**  
Музей антропологии  
и этнографии  
им. Петра Великого  
(Кунсткамера) РАН,  
Санкт-Петербург  
[boitsova@gmail.com](mailto:boitsova@gmail.com)

В современной детской моде нет ежесезонной смены своих собственных, отличных от взрослой моды трендов. То, что выдается за таковые специально для «модных родителей», повторяется из года в год. Например, вот что можно было узнать в разные годы



о расцветках детской одежды на портале <<http://kindermoda.ru/>>: «Модные расцветки: полоска, клетка, горох, цветочные узоры» (2007); «полоска — фаворит сезона» (2008); «Множество полос разных видов и ширины украшают коллекции для мальчиков» (2009); «В узорах встречаются цветы, полоски, клетка, горох, либерти» (2010); «Очень модной становится полоска» (2011; автор «Киндермоды» выделяет слово «полоска», а я бы выделила слово «становится»: как, опять?..). Последовательных изменений так мало и в то же время модному дискурсу они столь необходимы, что тенденцией моды для детей объявляются свобода выбора, демократичность и отсутствие диктата: носите что хотите!

Когда современные родители одевают ребенка, они руководствуются отнюдь не только веяниями моды и своими финансовыми возможностями. Их выбор определяется множеством других соображений, не применимых к взрослой одежде: «как быстро это испачкается и порвется», «удобно ли в этом ползать, прыгать, висеть вверх ногами», «можно ли передать это “по наследству” сиблингу другого пола», «не примут ли в этом ее за мальчика, а его за девочку», «не провоцирует ли такая одежда педофилов» и даже «не вырастет ли он гомосексуалистом, если его так одевать».

В таком случае есть ли вообще в детской моде закономерности, которые позволили бы хоть как-то описать этот кажущийся хаос? Они должны быть. Матросский костюмчик конца XIX в. (еще одна «ультрамодная» в течение полутора веков вещь!) мы сможем по фотографии отличить от матроски начала XXI в. («культурную историю матроски» см. в работах: [Kuhn, Kreutz 1989; Роуз 2012–2013]). Интуитивно понятно, что система детской моды существует — это подчас неуловимые различия фасонов и цветов, на полную смену которых могут уйти десятилетия, а то и столетия.

Джо Паолетти в книге «Розовое и голубое: различие мальчиков и девочек в Америке» как раз и выстраивает перед читателями эту систему. Кропотливо и аккуратно она раскладывает по полочкам длинные младенческие платья, отделяя их от коротких младенческих платьев, и ромперы, отделяя их от комбинезонов на пуговицах (button-on suit). История, которую автор разворачивает перед читателем, начинается в XIX в. и доходит до сегодняшнего дня: вы можете прочитать о новейшей тенденции надевать джинсы-скинни на младенцев (Р. 134) и тут же увидеть их своими глазами в соседнем торговом центре. При этом перед нами не просто история костюма, изложенная в хронологическом порядке: автора интересует не столько вопрос о том, как менялась одежда детей, сколько —

почему она менялась и какие связи можно проследить между модным и другими дискурсами, например, популярной психологией или феминизмом. Для того, кто прочтет «Розовое и голубое», мир детской одежды уже никогда не будет выглядеть хаотичным или бессмысленным.

Исследование и работа над книгой заняли у автора тридцать лет, и не удивительно, что результат близок к совершенству. Все положения и доказательства выверены, иллюстрации к каждой главе подобраны вдумчиво, структура из семи взаимосвязанных глав постоянно поддерживает интерес читателя, но не дает забыть, о чем говорилось раньше, язык отточен (насколько об этом может судить не носитель английского), и чтение этой монографии само по себе доставляет наслаждение.

Среди разнообразных видов источников, на которых основан труд Паолетти, хочется особо отметить публиковавшихся в журналах бумажных кукол с комплектами одежды. Изучение музейных экспонатов может оставить у исследователя впечатление, что «девочек было в пять раз больше, чем мальчиков, они проводили половину жизни на праздниках, едва ли когда-либо спали и никогда не пачкались» (Р. XVI). Между тем бумажные куклы, напечатанные для детей в женском журнале за конкретный год, дают представление о том, что следовало носить мальчику или девочке на прогулку, в гости, на праздник и на ночь, т.е. представление о повседневных практиках одевания. Правда, на российском материале я обнаружила, что этот источник иногда может демонстрировать неожиданные искажения и архаизмы<sup>1</sup>, о чем Джо Паолетти не упоминает.

Для объяснения изменений в детской одежде автор обращается к историческим концепциям детства, которые стояли за мотивами родителей: «невинное дитя», синонимичное «бесполому существу», и «мужественные мальчики», что на деле означало «не похожие на девочек». Учитывает она и другие факторы, влиявшие на рынок детской одежды, такие как развитие технологий: благодаря широкому внедрению УЗИ в конце XX в. будущим родителям до рождения становился известен пол ребенка — чуть ли не единственное, что они знали о своем малыше, что индивидуализировало его и на что они могли опираться, собирая ему приданое до родов.

Настоящей находкой исследования становится предложенный Паолетти поколенческий анализ. Он вскрывает один из, вероятно, основных движущих механизмов, которые стоят за сме-

---

<sup>1</sup> Так, в серии бумажных кукол «Маленькие модницы», опубликованной в России издательством «Махаон» в 2010 г. (художник В. Коркин), все девочки в качестве нижнего белья носят панталончики с оборками, что несколько не соответствует детскому белью 2000-х гг.

ной фасонов, оттенков и отделки в детской одежде, да и не только детской. В самом деле, взрослую моду устанавливают взрослые, а детскую моду диктует... кто? Тоже взрослые? Не просто взрослые, отвечает Джо Паолетти, а бывшие дети. Те мальчики, кого в конце XIX в. мучили «костюмом маленького лорда Фаунтлероя» и кто возненавидел его на всю оставшуюся жизнь — в том числе и на ту ее часть, когда они сами стали отцами. Те девочки, кого родители-феминисты 1960-х одевали в комбинезоны в стиле унисекс, а они мечтали о рюшах и Барби и сохранили эту мечту до того возраста, когда стали матерями. Колебания детской моды под пером автора покоряются поколенческому анализу, и изменения в одежде для детей за полтора столетия в Америке, порой неожиданные и стремительные, предстают перед читателем понятными и логичными.

Введенный Паолетти поколенческий анализ представляется очень продуктивным методом для объяснения динамики детской и даже взрослой моды. Он мог бы объяснить переход отдельных предметов из детского гардероба в следующем поколении во взрослый, что кажется странным с точки зрения более низкого статуса всего детского по сравнению с взрослым, — переход, который совершили в XX в., к примеру, кеды. Поколенческий анализ также мог бы объяснить, почему старомодные фасоны детской одежды дольше всего сохраняются в качестве выходных нарядов (и посоперничать с объяснением в терминах народного костюма, где праздничная одежда дольше всего остается традиционной): в детстве нынешних родителей так одевали по самым важным случаям самых красивых мальчиков и девочек!

В столь тщательно сделанном труде, как книга «Розовое и голубое», трудно найти повод для критики. Вопрос возник у меня при чтении следующего пассажа: «Консервативные родители обычно отвергали несексистское воспитание детей вместе с элементами феминистской идеологии, а менее “идеологически заряженные” родители просто считали гендерно нейтральную одежду менее привлекательной» (Р. 113). После того как автор выше продемонстрировала исторические основания кажущейся (не)привлекательности той или иной одежды для тех или иных родителей, на этом месте невольно хочется спросить: почему гендерно нейтральная одежда могла считаться непривлекательной? Ведь не может же ответом для социального исследователя быть «потому что она и правда некрасивая»!

Мои более серьезные возражения вызвала одна методологическая посылка. Джо Паолетти, будучи специалистом по материальной культуре и американским исследованиям и применяя

методы и подходы культурной истории и социологии моды, не просто не использует, а прямо отвергает семиотику. Для обоснования своей позиции по отношению к семиотике она приводит в пример длинное белое платье для младенца: «Если мы попробуем “прочитать” значение этого предмета одежды, используя наш собственный презентистский лексикон, мы интерпретируем его как крестильную рубашку, вероятно, для девочки. Чем больше мы узнаем про историю этого одеяния, тем дальше нам придется уйти от идеи простого языка моды, который можно использовать для анализа значения вне специфического контекста» (Р. 5). Между тем семиотический анализ не представляет собой вычитывание «значений» вне контекста, а наоборот, с необходимостью предполагает контекст — совершающийся в определенный момент в конкретном месте акт коммуникации, в котором происходит «высказывание» на «языке моды». То, что один и тот же предмет в разное время означал младенца без различия пола / девочку или повседневную / обрядовую одежду, не противоречит семиотическому анализу. Скорее наоборот, выяснение значений предмета в разных контекстах может стать интересной семиотической задачей.

Мне представляется, что именно для исследований детской одежды семиотика является не просто приемлемой методологией, а одной из самых подходящих. Ведь помимо моды и прежде моды, детский гардероб регулируется своей различительной функцией: он должен отличать детей от взрослых, мальчиков от девочек, малышей от старших дошкольников, тех и других от младших школьников, а тех, других и третьих от подростков. Нельзя забывать и о том, что взрослые, одевающие детей, таким образом конструируют свою идентичность, на «языке» одежды своих детей «сообщая» окружающим о своем материальном положении, образовательном уровне, этнической принадлежности. Иными словами, детская одежда — это всегда знак. Иногда мельчайшая деталь имеет значение, и книга «Розовое и голубое» наполнена такими деталями: например, платья мальчиков во второй половине XIX в. чаще шили в складку, а платья девочек — в сборку (Р. 31).

Более того, мне представляется, что всю область детской одежды можно было бы описать в виде противопоставлений: взрослый / ребенок, большой / маленький, мальчик / девочка — в придачу к оппозициям, в системе которых функционирует взрослое платье (о них в приложении к народному костюму см.: [Богатырев 1971]). В этих воображаемых координатах детский наряд отнюдь не является простейшей униформой со знаками отличия, а способен передавать тончайшие нюансы и оттенки смысла. Так, помочи (leading strings), которые пришива-

лись к детским платьям в XIX в., судя по некоторым портретам, исчезали с мальчишеских платьев в более раннем возрасте, чем с платьев девочек (Р. 31) и потому могли не только сообщать окружающим пол и возраст надевшего платье ребенка, но и кодировать на «языке одежды» представление о девочках как нуждающихся в большем контроле.

Семиотика есть там, где есть выбор, которому можно придать значение, — выбор предмета одежды, фасона, расцветки, украшений, в конце концов, выбор того, отпороть ли помочи от платья сейчас или оставить на потом. Джо Паолетти подробно разбирает, из чего могли выбирать родители на рубеже XIX и XX в., когда в связи с новыми психологическими теориями потребовалось «маскулинировать» мальчиков (Р. 78): длина волос (зависела от индивидуальных особенностей ребенка, а потому не очень годилась), одежда со штанинами (подходила в качестве маркера для той эпохи, когда все дети носили платья, но перестала быть таковым, когда женщины и девочки надели брюки) и такие особенности одежды, как ткань, отделка, покрой и цвет, распределение которых между мальчиками и девочками продолжалось в течение всего XX в., так что к настоящему моменту не разделенной по полу детской одежды остается исчезающе мало.

Автор пишет о том, что белое младенческое платье включает детей в мир женщин и отсылает к идеализированной женственности — таким ее чертам, как зависимость, чистота, хрупкость — не называя это коннотациями (Р. 21, 26). Для примера того, как можно было бы развить идеи Паолетти семиотически и использовать материал ее книги с применением семиотического анализа, возьмем положение застежки у тех предметов одежды, которые равно представлены в гардеробе мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Семиотический анализ состоит не в том, чтобы просто зарегистрировать: «ширинка спереди», «молния на боку», «крючки на спине» и приписать соответствующие застежки мужчинам или женщинам, мальчикам или девочкам, постулировав еще один знак их отличия друг от друга в одежде, а в том, чтобы выяснить коннотации конкретной застежки — к примеру, предполагаемую способность или неспособность одеться самому. Когда все дети носили платья, в одной из рекомендаций застежка на спине отличала девочку от мальчика, чье платье застегивалось спереди (Р. 81), а пассаж о женских брюках 1960-х гг. с «более женственной» застежкой сзади (Р. 101) поразил меня неудобством этого предмета, хотя такие брюки можно встретить и сегодня. Случайно ли, что в наше время только женская и детская одежда может иметь застежку сзади? Женщинам, чья застежка на одежде помещается более неудобно, чем у мужчин, скорее понадобится помощь

в одевании, что отсылает к представлениям о самостоятельности / несамостоятельности мужчин и женщин в нашей культуре.

Итак, работа Джо Паолетти, эксплицитно отвергая семиотическую методологию, ставит семиотические задачи, содержит семиотический материал и рассматривает семиотические кейсы. Я бы сказала, что семиотикам безусловно стоит читать книгу «Розовое и голубое» и продолжать исследования детской одежды, развивая поднятые в этой книге темы.

### **Библиография**

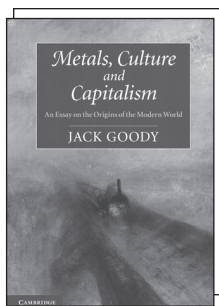
*Богатырев П.Г.* Функции национального костюма в Моравской Словакии // Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. С. 299–366.

*Васильев А.* Русская мода. 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2008.

*Роуз К.* Матросские костюмы конца XIX века: к чему такое единообразие? // Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2012–2013. № 26. С. 55–95.

*Kuhn R., Kreuz B.* Der Matrosenanzug: Kulturgeschichte eines Kleidungsstücks. Dortmund: Harenberg Edition, 1989.

*Ольга Бойцова*



**Jack Goody.** *Metals, Culture and Capitalism. An Essay on the Origins of the Modern World.* Cambridge et al.: Cambridge University Press, 2012. 349 p.

Джек Гуди — английский африканист, антрополог и один из наиболее плодовитых авторов, занимающихся гуманитарными дисциплинами. «Металлы, культура и капитализм» — его 24-я монография, написанная через пару лет после того, как Гуди отметил свой 90-й день рождения. Многие работы Гуди весьма известны, по крайней мере в англо-саксонском мире. Любая критика в адрес патриарха, в сущности, неуместна — доживите до его возраста, а потом оцените. Я согласился написать рецензию, исходя из заглавия книги и не вполне представляя, с кем имею дело. А когда спохватился, уже было поздно и написать пришлось.

Итак, Дж. Гуди — крупный британский антрополог. Вернувшись в 1945 г. из немецкого плена, в который попал, сражаясь в Северной Африке, он закончил Кембридж и на всю жизнь остался с ним связан. Полевые исследования Гуди вел на севере Ганы, но известность ему принесли не столько конкретные этнографические открытия, сколько работы на более общие темы — сравнение европейских, африканских и азиатских культур и анализ факторов, способствовавших становлению нашей цивилизации. Среди последних Гуди особо выделял интенсификацию сельскохозяйственного производства, урбанизацию с сопутствующим развитием бюрократии и,

**Юрий Евгеньевич Березкин**  
Музей антропологии  
и этнографии  
им. Петра Великого  
(Кунсткамера) РАН,  
Санкт-Петербург /  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге  
berezkin1@gmail.com

наконец, распространение письменности — все это в развитие идей Чайлда. С 1980-х его главным противником становится европоцентризм — тоже вполне в духе времени. Акцент на представлении о «многополярном мире», как принято сейчас говорить, породил концепцию множественности «ренессансов» [Goody 2010]. Как тут не вспомнить академика Конрада [Конрад 1966], о котором его британский последователь, вполне возможно, и не слышал.

Обращение к теме «металлов» в истории человечества для Гуди не случайно. В юности он увлекался не только Фрезером, но и Чайлдом и изучал археологию. Вряд ли Гуди затем следил за археологическими открытиями регулярно, но, работая над своей последней книгой, он постарался по мере возможности восполнить накопившиеся в знаниях пробелы. Большая часть рецензируемой книги задумана как конспект истории становления металлургии и металлообработки от их зарождения в неолите Передней Азии до нового времени. Завершается все небольшим эссе, озаглавленным «Металлы, “капитализм” и ренессансы». До него мы дойдем, но сначала об основной части.

Для автора, опубликовавшего в престижных издательствах 23 книги, не будет проблем с 24-й. Но если бы этот автор был бы не столь именит, я не уверен, что его текст вообще кто-либо взялся бы печатать. Для антрополога Гуди сравнительно хорошо начитан в археологической литературе, но для археолога — довольно посредственно. Однако суть дела даже не в этом. Я уж совсем собрался систематически выявить все неточности и ошибки, которые удастся заметить, но вскоре понял, что не в ошибках дело.

Фактологическая основа книги Гуди — это лишь план выражения, в то время как содержание можно свести к нескольким простым постулатам. Книга написана для людей, ничего или почти ничего не знающих об археологических открытиях последних десятилетий и, что самое главное, не ставящих себе целью расширить свой кругозор в соответствующем направлении. Перед нами «миф» по Ролану Барту [1994: 242–244]. “*Quia ego nominor leo*” значит, что я учу латынь, что другие не учат, что я знаю латынь именно на данном уровне и т.д. Здесь тоже читатель призван ощущать, что читает про археологию и про становление цивилизации, и получать от этого удовлетворение. Если же он осознает свое состояние и захочет действительно что-то узнать про Месопотамию, Китай или древнюю металлургию, то обратится к другим источникам — хоть к Википедии, будет и полезнее, и проще.

В книге Гуди «металлы» выбраны в качестве стержневой темы довольно формально. Автор прав — развитие металлургии



и металлообработки сыграло в социальной истории человечества особую роль. Он часто сравнивает металлургию с керамическим производством — не в пользу последнего. Верно и то, что эпоха бронзы в Евразии — одна из важнейших. Но, во-первых, Гуди интересуется все же не столько технология как таковая, сколько ее влияние на общество, а потому он постоянно отвлекается на другие темы, с металлургией и металлообработкой прямо не связанные. Во-вторых, при желании историю человечества можно описать и с позиции гончара или ткача. Такие подходы тоже не будут бессмысленными, но — как и история с позиции металлурга — несколько искусственными. Не металлургия (и не гончарство, и не биотехнологии) определяют развитие культуры, но культура использует любые возможности для развития. В Мезоамерике до конца Классического периода металлы вообще не были известны, да и дальше их роль оставалась несопоставимой с той, какую они играли в Перу, не говоря уже о Евразии. Но это не помешало возникновению цивилизаций Теотиуакана, Монте-Альбана и классических майя — цивилизаций, может быть, экзотических и не во всем симпатичных, но вполне сопоставимых с первыми цивилизациями Восточной и Юго-Западной Азии в отношении социальной сложности.

Тем не менее выбранный автором книги подход в принципе допустим. И если бы Гуди действительно внимательно проанализировал влияние на социальную сферу мировых трендов, обусловленных развитием металлургии и металлообработки, то честь ему и хвала. К сожалению, тема эта затрагивается здесь и там, случайно, «по-журналистски», как комментарий к тем или иным конкретным материалам, без серьезного обсуждения и уж точно без подведения ясных итогов и выводов.

Хотя я написал, что дефекты книги Гуди обусловлены не столько частными неточностями, сколько общим характером изложения, ее жанром, некоторые характерные примеры этих неточностей все же хотелось бы привести. По ним видно, что автор знает и чего не знает. Начнем с неолита Передней Азии.

Гуди пишет, что «примером самого раннего оседлого поселения является Джармо в Курдистане (8500—6500 до н.э.)». Я сразу мысленно перенесся в 1966 г., когда нам, студентам второго курса истфака ЛГУ, о раскопках Р. Брейдвуда на Джармо рассказывал В.М. Массон. Но как давно это было и как неизмеримо далеко продвинулась с тех пор переднеазиатская археология! Так что отодвинем начало оседлости на полтора тысячелетия вглубь времен и не станем связывать ее с появлением земледелия и скотоводства [Березкин 2013: 172–173].

А вот еще. «Плавка [меди], по-видимому, впервые получила распространение в Сузах в Персии к югу от Каспийского моря». Во-первых, Каспийское море — несколько странный ориентир для локализации Суз. Во-вторых, найденные там медные топоры, скорее всего, были привезены с Иранского плато. Понимает ли автор, о чем он пишет, знает ли, кто и когда копал Сузы? Уверен, что нет, а без этого весь разговор не имеет смысла. Ведь утверждение о приоритете Суз надо подкреплять хронологическими выкладками, сравнением с другими ранними памятниками и т.п.

То, что Гуди извлекает информацию из обзорных работ и даже не пытается ее критически осмыслить, бросается в глаза на каждом шагу. Чего стоит “Khasakhstan” вместо «Сузианы», причем именно в этом «Хазакстане» (а не в южной Месопотамии) якобы находился Урук (автор перепутал Казахстан с Хузистаном). Или «первая арабская династия, династия Хаммурапи, утвердилась в Вавилонии в середине III тыс. до н.э.». Простите, но это бред — посмотрите в интернете, когда жил Хаммурапи. А если имеется в виду Саргон Древний, то он тоже жил позже, причем ни Саргон, ни Хаммурапи не были «арабами». Или «в гавани Мерсина печати делали из оловянистой бронзы в халафский период». Это тоже абсурд — халаф закончился к середине VI тыс. до н.э., какая бронза в это время?

Но для читательской аудитории, к которой обращается автор, по-видимому, важны не точные и конкретные факты, а стиль и тон изложения. Действительно ли «местные киммерийцы, фракийцы и фригийцы» обитали на Карпатах в середине II тыс. до н.э., никого не волнует, поскольку потенциальные читатели столь же мало владеют соответствующей информацией, сколь и сам автор. Иногда остается и вовсе развести руками: «Лингвистически европейский степной пояс состоял из двух групп, индо-иранцев на севере и сейминско-турбинского населения на юге». В другом месте автор относительно правильно локализует сейминско-турбинские памятники как распространявшиеся с Алтая по лесостепи в Восточную Европу (вплоть до Финляндии).

Несоответствия, скорее всего, означают, что Гуди просто не помнит, где, что и когда было. Делая выписки, он не в состоянии привести их в систему. Учитывая его возраст, это прощательно. Но сопоставлять индоевропейцев (т.е. носителей определенных языков) с создателями бронзовых орудий определенных типов, о языке или языках которых мы не имеем понятия, невозможно по определению, и это уже непростительно для любого гуманитария независимо от возраста и прошлых заслуг.

С языками в книге вообще беда. «Это “пиктографическое письмо” [имеется в виду критское иероглифическое. — Ю.Б.] было оставлено в пользу слогового линейного А, очевидно, использовавшегося для передачи лувийского языка, который, возможно, был языком Трои и родственен индо-европейскому хеттскому». Линейное А не дешифровано, язык его не известен. Может быть, он и был родствен лувийскому, может быть, этрусскому, но это надо доказать. Про язык Трои и того хуже, он нам совсем не известен.

А вот еще: «Шумерские города-государства возникли около 3500 г. до н.э.» С датировкой почти правильно, но только мы не знаем, на каком языке говорили в это время в Уруке и Ниппуре, поэтому называть города Южной Месопотамии IV тыс. до н.э. шумерскими некорректно. Тем более что значительная часть шумерской культурной лексики, как известно, нешумерского происхождения.

Никто не требует от африканиста быть компетентным в археологии Малой Азии или Балкан. Но если уж автор взялся за подобные темы, то неужели трудно проверить себя — опять-таки хоть по Википедии. «В Чатал-хеюке медь появляется даже раньше керамики». В Чатал-хеюке керамики мало, но там нет докерамических слоев, поэтому утверждение Гуди не имеет смысла. «Культура кукутени-триполье в Болгарии и Румынии». А может быть, все-таки в Румынии, Молдове и Украине?

Гуди опирается почти исключительно на вторичные источники. В его библиографии менее 400 публикаций, что для работы такого масштаба недопустимо мало. Опора на вторичные источники всегда ведет к прогрессирующему росту числа ошибок. В свое время чертежница случайно поставила цифру «2» не там, где в масштабе было отмечено 2 м, а там, где должно было быть 2,5 м. В результате В.М. Массон пришел к заключению, что в конце III тыс. до н.э. самой бедной социальной группой на поселении Алтын-депе в Южном Туркменистане являлись ремесленники (их дома по площади меньше других; [Массон 1981: 105, 107, рис. 12]). Ошибка чертежницы была замечена и вывод исправлен [Березкин 1994]. Однако Гуди, естественно, не следил за частными публикациями (тем более русскоязычными) и почерпнул информацию из работы Ф. Хиберта, который ошибку Массона повторил [Hiebert 1994]. Это мелкая, но вместе с тем характерная подробность. Зачем Гуди вообще нужны ремесленники Алтын-депе, богатые или бедные? Они упомянуты без всякой специальной цели, из неосознанного — скорее всего — желания продемонстрировать собственную осведомленность. Но осведомленность эта фиктивная. Отнеся Туркменистан к «циркумпон-

тийскому региону», Гуди и вовсе ввел читателей в замешательство.

Пишет Гуди и о «докерамическом Мергаре 6000–5000 гг. до н.э., когда торговые связи со Средней Азией и Аравийским заливом были уже установлены». Мергар I — это первая земледельческо-скотоводческая культура Белуджистана, датируемая VII тыс. до н.э. и с производством керамики не знакомая. В Средней Азии производящая экономика (джейтунская культура) появляется лишь в самом конце этого тысячелетия. Сходство кремневой индустрии Джейтуна и Мергара, видимо, объясняется общим происхождением. Однако мергарцы ушли из Переднеазиатского региона на восток еще до распространения керамики, а джейтунцы заселили подгорную полосу Копетдага в то время, когда керамика уже стала известна. Торговых же связей между Мергаром I и Джейтуном не могло быть, ибо это разновременные комплексы.

Не лучше дела и с Восточной Азией. Верно, что бронза проникла в Китай около 2000 г. до н.э. и получила широкое распространение в культуре эрлитоу, но неверно, что это произошло в 1600–1400 гг., поскольку эрлитоу датируется временем 1900–1500 гг. до н.э.

Весьма характерно для стиля Гуди и такое утверждение, тоже касающееся бронзового века бассейна Хуанхэ: «Бронза лишь изредка попадала за стены поселений культуры луншань на Центральных равнинах [на Северокитайской равнине. — Ю.Б.] и вошла в широкое употребление лишь на памятниках династии Ся, таких как Эрлитоу». А на памятниках луншань бронза вообще есть? И что значит «памятники династии Ся», на них написано название династии? Такой оборот ожидаем от китайских археологов, но Гуди живет в Европе и мог бы, никого не обидев, выразиться корректнее.

Написанное Гуди о Доколумбовой Америке вообще лучше забыть и не вспоминать — это слишком дискредитирует уважаемого ученого. Источником служат две работы 1960-х гг., посвященные древним цивилизациям в целом. Простое «фоновое» знание о культурах Мезоамерики и Центральных Анд, которое нормальный студент получает из разговоров в коридоре, должно, как мне кажется, лучше соответствовать реальности. И даже в те далекие годы, когда Гуди еще учился, некоторые элементарные сведения об ацтеках и инках уже были доступны. Да что там — разве и в XIX в. не было известно, что ацтекская культура возникла не в середине I тыс. н.э., а позже, и что инки и некоторые их предшественники обладали мощной и вполне полноценной металлургией бронзы?

Единственный раздел в книге Гуди, где автор пишет со знанием дела, — это несколько страниц про африканских кузнецов, ибо их он действительно знает по личному опыту. Все остальное — в лучшем случае сбивчиво, в худшем — совсем неверно.

Иногда кажется, что фактические ошибки Гуди вызваны не трудностями добывания информации и даже не его неосведомленностью: он просто не думает, что пишет. «Персы продвинулись из Средней Азии в горы Загроса в начале I тыс. до н.э.», «а в конце этого тысячелетия к ним прибавились тюрки». Трудно поверить, что Гуди уж совсем ничего не читал о времени разделения тюркских языков и миграции тюркоязычных народов. Однако нельзя исключать, что он ни разу не перечел своего собственного текста, а попросил заниматься подробностями помощников. И уж тем более Гуди, как и любой человек, должен понимать, что необожженные глиняные сосуды чересчур хрупки, чтобы ими пользоваться, да и жидкость в них не налить. И тем не менее автор пишет: «Сосуды высушивали на солнце или обжигали на открытом огне». Что он имел в виду? Да, скорее всего, ничего.

Обращать внимание на опечатки — плохой тон, ибо это вина скорее корректора, нежели автора. Но некоторые опечатки корректор поправить не может, и тут возникают вопросы. Например, на карте 13, где показаны культуры Китая, «чжоу» обозначено как Zhao, а не Zhou. А вдруг это не опечатка? Правда, «Империя Чжоу (Zhou)» в одном месте упоминается, но я уже не уверен, что Zhao и Zhou для автора книги одно и то же. Кстати, назвать Чжоу «империей» можно разве в какой-нибудь детской книжке — не было в Китае «империй» до Цинь Ши-хуанди.

В указатель ни Zhao, ни Zhou не попали, зато попала “Socatra”. Имеется в виду остров Сокотра, который назван «Сокатрой» и в тексте. Понятно, что знание китайских династий и йеменских островов не обязательно для корректоров, но оно обязательно для автора, предлагающего анализ алгоритма становления мировой цивилизации.

Вообще Древнему Китаю в книге повезло лишь немногим больше, чем Новому Свету. Основным источником Гуди служит [Chang 1977], а точнее [Chang 1968], потому что Гуди ссылается на третье издание, которое просто повторяет два предыдущих. По К. Чану и я знакомился с китайской археологией в 1967 г., но сколько глины унесла с этих пор Хуанхэ в Желтое море!

Гуди искренне поражен информацией, которую он нашел в переведенной в 1992 г. на английский книге Е.Н. Черныха о древ-

ней металлургии на территории СССР. Оказывается, проникновение бронзовой технологии в Китай происходило совсем не так, как ее распространение «из Ирана в Индию». От Черных же Гуди узнал о сейминско-турбинском феномене. Прекрасно — лучше поздно, чем никогда. Но все же личные открытия такого рода скорее ожидаемы от студента, чем от автора книги, изданной ни много ни мало, а Cambridge University Press.

Не раз останавливаясь на подробностях (иногда посторонних для его темы), Гуди пропускает целые разделы если не мировой, то по крайней мере региональной истории. Ни слова, т.е. совсем ни слова нет о культуре варна и древнебалканской металлургии меди и золота — самой передовой в мире для своего времени (V тыс. до н.э.). Ни слова нет о североамериканской традиции изготовления изделий из самородной меди — а ведь это 4,5 тысячелетия и полконтинента. В Китае Гуди знает про Аньян и — даже удивительно — про Саньсиндуй, но третий бронзолитейный центр II тыс. до н.э., Учен, остался вне кругозора британского антрополога.

Помимо перевранных данных и зияющих пропусков, обзор Гуди отличает еще один недостаток: он плохо структурирован. Автор то и дело и без всякой необходимости перескакивает с одной темы на другую, то начинает рассказывать о средневековье, то вдруг возвращается в далекое прошлое. Почему, например, раздел про венецианскую торговлю (к которой автор потом еще обратится) оказался раньше раздела про бронзовый век евразийских степей?

Вопрос риторический, и ответ на него, к сожалению, может быть только один. Перед нами не исследование, а имитация научного дискурса. Гуди знает довольно много и вовсе не всегда ошибается. Но ведь и утверждение, будто «все критяне лжецы», не предполагает, что все критяне постоянно говорят неправду. Оно значит лишь то, что критяне могут солгать и соответственно им нельзя верить. А если обзорному тексту нельзя верить, то зачем же он вообще нужен?

А теперь о последних страницах книги, за которыми следуют еще лишь два маленьких приложения, касающиеся технологии железодельного производства, а дальше уже указатель и список литературы. Как и основная часть, это небольшое эссе написано тяжело и невнятно. Автор словно бы комментирует сам себя или, отвечая на чьи-то возражения, приводит не доводы, а примеры. Рассуждения о монотеизме, политеизме, металлах и демократии (они есть и в основном тексте) годятся для социальных сетей, но не для научного издания. Тем не менее основная идея Гуди понятна.

Гуди, как уже было сказано, — противник европоцентризма в описании мировой истории. Тут я с ним целиком согласен. Между IV и XII вв. н.э. ведущие центры цивилизации находились где угодно, но уж точно не в Европе. В этом смысле всемирную историю, конечно же, надо переписать таким образом, чтобы любому образованному человеку слова Тан, Сун или Хейян были столь же знакомы, как каролинги или Ганзейский союз. Но эту позицию бессмысленно отстаивать, перечисляя, кто что у кого заимствовал и воспринял. Это вопрос не «геополитики», а нормальной истории, работающей с конкретными фактами и не ангажированной для доказательства заранее принятой аксиомы.

В то же время попытки затушевать роль Западной Европы как региона, в котором на протяжении примерно 500 лет от 1200 до 1700 гг. н.э. произошел выход мировой цивилизации на принципиально иной качественный уровень, были и останутся бесполезны. Ведь перед нами единственный в своем роде процесс, произошедший в силу стечения множества в значительной мере тоже уникальных обстоятельств. Такого рода прорывы в мировой истории случались и раньше — это становление переднеазиатского неолита и экспансия его носителей (X/XI—VII тыс. до н.э.), а затем появление города, государства и письменности в Месопотамии в IV тыс. до н.э. Эти древние «революции» тоже повлияли в конечном счете на весь мир, но темпы развития и масштабы процессов были все же другими. Так что поиски «ренессансов» в Индии, Китае или где-то еще выглядят просто абсурдными. Когда ренессанс на Дальнем Востоке искал Н.И. Конрад, его задача состояла прежде всего в том, чтобы не попасть в опалу, а для этого попытаться вписаться в марксистский универсальный эволюционизм. Но когда то же самое пытаются делать современные интеллектуалы, в этом можно видеть лишь нелепый комплекс вины и неполноценности. Достижения нашей цивилизации никоим образом не умаляют достижений индусов или китайцев — если, конечно, заниматься наукой, а не политикой и пропагандой.

Я начал с того, что критиковать патриарха, сохранившего в столь почтенном возрасте в общем и целом ясную голову, не очень удобно. И действительно, проблема вовсе не в Джеке Гуди. Автор может думать и писать что угодно, но за выходом книги в крупном издательстве всегда стоит определенная социальная группа. Ведь книгу читали и рецензировали до того, как она была напечатана, а отдел маркетинга наверняка просчитывал, много ли экземпляров удастся продать. Видимо, оценки были оптимистичны.

На задней странице обложки книги Гуди написано, что «этот критически важный (landmark) текст, в котором сплетены столетия, культуры и континенты, обещает стать источником новых идей для всех, кто работает в сфере гуманитарных наук или еще учится в университете». Столетия, культуры и континенты в книге действительно сплетены, но результат все же больше похож на спутанную леску от спиннинга, нежели на узорный келим. Если «добро» на публикацию дали исследователи, то возникает вопрос. Неужели уровень знаний в нашей науке так низко упал? Но вряд ли дело в этом. В Англии, США и других странах выходит немало замечательных монографий, посвященных древним цивилизациям — правда, чаще всего монографий коллективных и не включающих материалы со всего мира и по всем эпохам.

Автор этой рецензии знает о древней истории немножко больше, чем Джек Гуди, но взявшись за тему такого масштаба, тоже наверняка наделал бы массу ошибок. Есть объективные трудности: скорость накопления знаний в археологии и смежных дисциплинах сейчас выше, чем способность сколь угодно работоспособного человека угнаться за всеми необходимыми публикациями. Так или иначе, но выход книги Гуди есть событие скорее политическое, чем научное. Насколько оно вообще значимо для Великобритании — судить не берусь, но надеюсь, что не очень.

### Библиография

*Барт Р.* Избранные работы. М.: Прогресс, Универс, Рея, 1994.

*Березкин Ю.Е.* «Город мастеров» на древневосточной периферии. Планировка поселения и социальная структура Алтын-депе в III тыс. до н.э. // Вестник древней истории. 1994. № 3. С. 14–27.

*Березкин Ю.Е.* Между общиной и государством. Среднемасштабные общества Нуклеарной Америки и Передней Азии в исторической динамике. СПб.: МАЭ РАН, 2013.

*Конрад Н.И.* Запад и Восток: Статьи. М.: Наука, 1966.

*Массон В.М.* Алтын-депе. Л.: Наука, 1981.

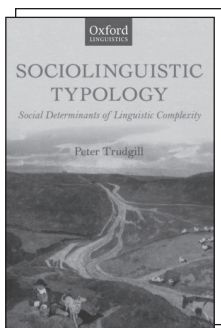
*Chang K.* The Archaeology of Ancient China. New Haven; L.: Yale University Press, 1968. 3<sup>rd</sup> ed.: 1977.

*Goody J.* Renaissances: The One or the Many? Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

*Hiebert F.T.* Origins of the Bronze Age Oasis Civilization in Central Asia. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1994.

*Юрий Березкин*





**Peter Trudgill.** *Sociolinguistic Typology: Social Determinants of Linguistic Complexity.* Oxford: Oxford University Press, 2011 (reprinted 2012). 236 p.

Питер Традгилл (р. 1943) — одно из самых известных имен в социолингвистике. Он родился в Норидже, в Англии, получил магистра в Кембридже (King's College) и степень доктора в Эдинбургском университете, преподавал во многих британских и европейских университетах.

Серьезный специалист-диалектолог, Традгилл был первым, кто применил и развил социолингвистические методики, разработанные Уильямом Лабовом, к исследованию английских социальных диалектов: его первая книга [Trudgill 1974], в основу которой легла его диссертация, до сих пор является образцом применения этого метода. Основная масса его публикаций — об английской диалектологии.

Рецензируемая книга в каком-то смысле объединяет и суммирует диалектологические и социолингвистические изыскания автора. В книге много лингвистики, довольно специальной. Ее адресат ясен — это лингвисты. Те, кто занимается языковыми контактами, должны прочесть эту книгу, потому что там много интересных соображений о креольских языках и креолоидах, а также много любопытных языковых примеров и их анализа. Те, кто занимается германской диалектологией, тем более должны ее прочитать: там опять же много примеров и остроумных соображений об истории германских языков, в частности — о причинах

«упрощения» английского языка (Традгилл высказывает интересные соображения в рамках старой дискуссии о том, контакт с какими группами в этом «повинен» — с кельтами или с викингами). Одна из самых привлекательных черт книги, превращающая чтение из работы в удовольствие, — это разбросанные по тексту отступления, экскурсы, многочисленные примеры из самых разных языков, с остроумным и тонким анализом.

Однако большинству читателей «Антропологического форума» эти лингвистические тонкости вряд ли интересны, поэтому я в этой рецензии обойду все лингвистические подробности молчанием и сосредоточусь на других аспектах книги. Надеюсь, что по ходу изложения станет понятно, почему эта книга показалась мне интересной не только для узких специалистов.

Традгилл начинает книгу утверждением, заставляющим читателя насторожиться и вспомнить конец 1920-х гг. и пресловутую «яфетическую теорию»: «Распределение языковых черт по языкам, возможно, не окажется полностью случайным, если взглянуть на них с точки зрения общества» (Р. xv). Не дав читателю как следует испугаться, автор тут же оговаривается, что этот вопрос далеко не нов и что это подход, к которому лингвисты (с полным на то основанием) всегда относились с большим подозрением, поскольку он связан с «ошибочным представлением о существовании примитивных языков и примитивных обществ». Однако, пишет Традгилл не без иронии, профессиональные лингвисты в течение многих десятков лет убеждали друг друга, что не существует никаких примитивных языков, и сегодня полностью единодушны в этом вопросе. Так, может быть, теперь уже позволительно вернуться к печатному обсуждению других аспектов этого вопроса без риска вызвать соответствующие подозрения?

Одним из таких аспектов, по мнению Традгилла, является вопрос о сравнительной сложности языков и языковых подсистем, который не так прост, как принято считать. Еще Хокетт [1958: 180–181] писал, что «общая грамматическая сложность любого языка, если считать вместе морфологию и синтаксис, примерно равна сложности любого другого». Однако, пишет Традгилл, современная лингвистика начинает сомневаться в абсолютности этого утверждения: если мы признаём существование в истории языка такого явления, как упрощение, то отсюда неизбежно следует, что до упрощения язык был структурно сложнее, чем после, а если некоторые языки в разные периоды своей истории могут быть проще или сложнее, это значит, что на синхронном уровне некоторые языки могут оказаться сложнее других (Р. 15–16). «Конечно, это своего рода

традиция среди лингвистов в разговоре с не лингвистами подчеркивать, что “все языки одинаково сложны”. Однако очевидно, что это — пропагандистский прием, направленный против распространенной в нашем обществе идеи, что “некоторые языки или диалекты примитивны или неразвиты”. <...> На самом деле многие из нас готовы, по крайней мере среди своих, признать, что это [утверждение “все языки одинаково сложны”. — *Н.В.*] неверно» (Р. 16).

Если так, т.е. если существуют более сложные и менее сложные языковые системы, то как можно определить сложность и объяснить усложнение? Собственно, ответу на этот вопрос и посвящена рецензируемая книга.

Определения сложности автор не дает, вместо этого он приводит многочисленные примеры более сложных систем; из примеров становится ясно, что его «сложность» прежде всего означает сложность обработки речи для слушающего [Heath 2012: 406]: очень громоздкие или, наоборот, очень небольшие системы фонем; морфологическая нерегулярность; громоздкие парадигмы; семантическая непрозрачность и т.п. В своей книге Традгилл пользуется понятием «зрелых языковых черт» (mature language features), введенным Остином Далем: это такие грамматические черты, которые развивались в языке в течение длительного периода времени. Цитата из Даля: «Языковые явления обладают жизненным циклом в том смысле, что они проходят через ряд последовательных стадий развития, и в ходе этого они “созревают”, то есть приобретают характеристики, которые иначе были бы невозможны» [Dahl 2004: 2]. Развитие некоторых языковых характеристик требует очень длительных периодов времени. Книга изобилует убедительными примерами этих «зрелых черт» и сложных (под)систем, на которых я здесь останавливаться не буду.

Значительно интереснее вопрос о том, откуда берется сложность. Традгилл ищет объяснение языковой сложности в социальных факторах, и прежде всего — в интенсивности и типе языковых контактов. Контакты — и это общеизвестно — влияют на скорость и интенсивность языковых изменений: наличие контактов ускоряет изменения. Однако Традгилл идет дальше и задается вопросом о том, в какой мере контакт может быть связан с наличием или отсутствием в языке тех или иных структурных черт (Р. 15). Он рассматривает два противоположных процесса: упрощение и усложнение языковых систем.

**Упрощение** включает как минимум три аспекта (Р. 20): (1) выравнивание нерегулярностей; (2) увеличение лексической и морфологической прозрачности, т.е. соответствия между планом содержания и планом выражения грамматической

категории или семантического значения<sup>1</sup>; (3) утрата избыточности, как синтагматической (повтор информации), так и парадигматической (синтетическое выражение грамматических категорий).

Упрощение, далее, тесно связано с языковыми контактами: чем больше и интенсивнее контакты между языками, тем больше степень упрощения систем в очерченном выше смысле.

**Усложнение** языковой системы парадоксальным образом тоже связано с языковыми контактами: многие типологи утверждают, что в ситуации языкового контакта нередки случаи, когда язык заимствует из соседнего те или иные черты *в дополнение* к тем, которые у него уже есть (Р. 27). Мы, таким образом, имеем дело с загадкой: неверно говорить, что контакт порождает либо упрощение, либо усложнение: ясно, что он порождает и то, и другое. Нужно, следовательно, определить те условия, при которых контакт ведет к упрощению, и те, при которых он же ведет к усложнению.

Ответ, по мнению автора, — в характере освоения языка: *упрощение* возникает там, где контакт кратковременный и второй язык усваивают взрослые (крайний случай — пиджины), *усложнение* — там, где контакт стабильный, долговременный и второй язык усваивают дети (крайний случай — Балканы) (Р. 31–34). Упрощение при языковом контакте возникает потому, что язык осваивается взрослыми *после критического возрастного порога*; отметим, что такой тип языкового контакта в современном мире доминирует. Речевые сообщества, которые часто общаются с другими сообществами (что предполагает освоение языка (или диалекта) взрослыми), склонны порождать более простые языковые формы: движение от синтетизма к аналитизму, редукция морфологических категорий, редукция грамматического согласования, увеличение регулярности и семантической прозрачности. Все это обеспечивает более легкое освоение языка взрослыми. Напротив, при более длительном и постоянном контакте, предполагающем долговременное соседство разных речевых сообществ, включая детей, которые выучивают два или более языка на очень хорошем уровне, языковые системы имеют тенденцию к усложнению. Это приводит к возникновению языковых союзов (Р. 41–42).

---

<sup>1</sup> Языковая форма обладает тем большей *семантической прозрачностью*, чем больше однозначное соответствие между единицами плана содержания и единицами плана выражения. Так, считается, что аналитические формы (типа *буду читать*) более прозрачны, чем синтетические (типа *почитаю* или *прочитаю*); однозначные падежные значения прозрачнее многозначных; названия птиц типа *каменюшка* прозрачнее, чем типа *селезень*; сочетание *two times* более прозрачно, чем *twice*; сочетание *not often* — более прозрачно, чем *seldom*, и т.п.

Традгилл оговаривается, что предложенная дихотомия типов языкового контакта, которые порождают противоположные следствия, не охватывает всех возможных ситуаций, потому что (1) один тип контакта может хронологически сменяться другим в одной и той же местности; (2) один тип контакта может хронологически накладываться на второй, и здесь важна пропорция носителей разного возраста; (3) степень контакта может значительно различаться в разных ситуациях; (4) термины «долгосрочный» и «краткосрочный» довольно неопределенны; (5) важны и лингвистические факторы — например, степень родства языков.

Усложнение характеризуется следующими чертами: (1) рост иррегулярности; (2) рост семантической непрозрачности; (3) рост синтагматической избыточности; (4) появление новых морфологических категорий.

Из них в контактных ситуациях обычно наблюдается только последнее: появление новых морфологических категорий, т.е. *дополняющее заимствование*. Остальные черты усложнения — не только сохранение сложности, но и ее увеличение — наблюдаются в ситуации, когда язык существует изолированно или в ситуации низкого уровня контакта. Традгилл разбирает все четыре перечисленные выше черты (Р. 66 f.) на материале традиционных vs. контактных английских и скандинавских диалектов и демонстрирует (Р. 88), что *все имеющиеся примеры усложнения разных типов обнаруживаются только в относительно изолированных языках* (северный фризский, фарерский, изолированные говоры английского, немецкого, датского и норвежского) и *ни один из них не зафиксирован в стандартных, городских или колониальных вариантах* — т.е. в ситуациях интенсивного контакта.

Следовательно, кратковременный контакт взрослых говорящих ведет к упрощению; долговременный контакт ведет к дополняющему усложнению; изоляция ведет к спонтанному усложнению.

Усложнение вероятно (хотя и не обязательно происходит), если в наличии следующие признаки сообщества: (1) низкий уровень языковых контактов взрослых; (2) высокая социальная стабильность; (3) небольшой размер сообщества; (4) тесные социальные сети; (5) большое количество информации, разделяемой всем сообществом (Р. 146).

Эти обстоятельства имеют важные следствия в области социолингвистической типологии: так называемая «тенденция к аналитизму», хорошо известная со времен Шлегеля, т.е. превращение синтетических языков в аналитические, большин-

ством лингвистов воспринимается как «норма», потому что с этими процессами они знакомы на материале многих европейских языков (эта тенденция хорошо видна, если сопоставить немецкий с древневерхненемецким, английский с древнеанглийским, французский с латынью, болгарский с церковно-славянским и т.п.). Поэтому, пишет Традгилл, мы считаем упрощение (утрату или сокращение сложных склонений и спряжений; утрату двойственного числа; вообще — уменьшение морфологической сложности) естественным процессом. Однако логически упрощение не может быть единственной нормой: если бы оно было нормой, все языки мира уже давно были бы высоко регулярны и семантически совершенно прозрачны. Скорее уж, пишет Традгилл, нормой является усложнение: если бы языки «оставили в покое» (т.е. оставили в бесконтактной ситуации), естественная тенденция их развития состояла бы в усложнении (Р. 152).

Традгилл цитирует здесь работу [Bailey 1982]: «Что нормально для изоляции — не нормально для контакта» (Р. 152). Смущают термины, введенные Бейли: тот называет естественными (*connatural*) изменениями те, которые происходят в языковой системе самопроизвольно, и неестественными (*abnatural*) — изменения, которые «происходят в результате контакта с другими системами». Бейли тем самым «подчеркивает, что нормальным состоянием языка является высокая сложность, которую европейские лингвисты обычно связывают с “экзотическими” языками, а умеренная сложность языков вроде английского и французского — и, конечно, креольских языков — представляет собой социально-историческую аномалию» [McWhorter 2012: 45].

Кажется, что этот подход (считать отсутствие контакта и, следовательно, усложнение языковой системы нормой, а его наличие и, следовательно, упрощение системы — аномалией) входит в противоречие с тем обстоятельством, что в масштабах Земли дву- и многоязычие все-таки статистически преобладает [Austerlitz 1982: 56; Crystal 1997: 14], а значит, и количество человеческих сообществ, живущих в ситуации постоянно языкового контакта, больше, чем количество сообществ, живущих в языковом отношении изолированно. Иначе говоря, по крайней мере статистической нормой является как раз наличие контакта. Однако Традгилл выходит из положения путем следующего рассуждения (Р. 167 f.).

Принцип униформизма (*uniformitarian principle*) подсказывает нам, что мы можем представить себе события прошлого на основании наших знаний о событиях настоящего. Однако социолингвистическая типология показывает, что существует по

крайней мере одно очень важное измерение, в котором настоящее отнюдь не похоже на прошлое, а именно — демографические и, следовательно, информационные и коммуникативные изменения последних 500 лет. Стремительный рост населения и не менее стремительный рост мобильности привели к тому, что все меньше и меньше остается языков, на которых говорят небольшие, изолированные, тесно спаянные сообщества. При этом Традгилл замечает, что примерно 95 % человеческой истории<sup>1</sup> приходится на неолитические и до-неолитические времена, когда мир был устроен совершенно не так, как он устроен сегодня, и языковой контакт типа «только взрослые» был далеко не так широко распространен, как в последние столетия.

Иначе говоря, текущий диахронический тренд — в направлении роста доли языков все менее и менее сложных. Не означает ли это, что в будущем у нас будет все меньше небольших сообществ, объединенных общим знанием (то, что Традгилл называет *communally shared information*), а значит — и все меньше и меньше языков, в которых существуют сложные, «зрелые» языковые подсистемы?

Конечно, лингвисты довольно скептически относятся к корреляциям между языковой и культурной сложностью. Традгилл цитирует известное высказывание Дерека Бикертон: «Если бы существовала связь между языковой сложностью и культурной сложностью, мы ожидали бы, что в более сложных обществах были бы распространены более сложные языки, а в более простых обществах — более простые. <...> Ничего подобного мы не обнаруживаем» [Bickerton 1996]. Однако, возражает Традгилл, почему бы не рассмотреть обратное соотношение: некоторые аспекты языковой сложности более заметны как раз в более простых, а не в более сложных обществах (Р. 172).

В заключении к книге (Р. 182–184) Традгилл обращается к креольским языкам и показывает, что никаких «зрелых явлений» нет не только в них, но и в посткреолах: здесь не бывает ни эвиденциалиса, ни тройственного числа, ни развитых местоименных систем, ни сослагательных форм, ни переключения референции, ни постпозитивных определенных артиклей, ни других черт, которые Традгилл относит к «сложным». Отсутствие этих явлений в языках данного типа не может быть случайностью. Можно предположить, что креольские языки могли бы с течением времени — очень значительного времени! — развить эти черты, если бы их «оставили в покое», однако такой

<sup>1</sup> Традгилл считает самой ранней датой появления первых постнеолитических сообществ время порядка 5–6 тысяч лет назад, а примерную дату появления языка принимает за 100 тысяч лет.

сценарий развития выглядит все менее и менее вероятным. Другими словами, сложные («зрелые») явления могут со временем вовсе исчезнуть из языков мира.

В эпилоге (Р. 185–189) Традгилл суммирует уже сказанное и делает достаточно очевидное, вполне политкорректное, хотя и тривиальное заключение: так называемые «экзотические» языки, редкие и уникальные явления в языках мира следует изучать и документировать, пока они не исчезли вовсе.

Мы видим, что в этой книге Питер Традгилл ставит вопросы, чрезвычайно, на мой взгляд, важные далеко не только для лингвистики. Происходит ли в языках (и в человеческих сообществах) накопление изменений? Происходят ли в истории необратимые изменения? Двигается ли развитие языковых систем по кругу или линейно?

Связаны с этим и другие вопросы. Является ли «нормой» (что бы ни понималось под этим словом) изолированное существование человеческих языков и культур или «нормой» является их взаимодействие? Если действительно изоляция приводит к «усложнению» (где, кстати, предел этой сложности? Достигнет ли язык, полностью изолированный от внешних влияний, такого предела сложности, когда использование его для коммуникации станет затруднено или даже невозможно?), а контакт — к «упрощению», потере «зрелых элементов» языка (а в современном мире контактов, кажется, становится все больше), то нельзя ли применить эти соображения не только к языковым системам, но и к «культурам» (что бы ни понималось под этим словом)? Если контактные ситуации, в которых соседний язык осваивают дети, и те, в которых его усваивают взрослые, расходятся по своим последствиям для языка коренным образом, то что мы можем сказать о применимости этого подхода к человеческим сообществам?

На все эти вопросы у меня, естественно, ответа нет. Однако прочитать рецензируемую книгу я советую не только лингвистам: она заставляет по-новому посмотреть на многие, казалось бы, известные вещи. Она заставляет думать — и это, пожалуй, самый лучший комплимент, который можно высказать в адрес книги.

#### Библиография

*Austerlitz R.* Three Thoughts on Dr. Kreindler's Thoughts // *International Journal of American Linguistics*. 1982. Vol. 33. P. 13–56.

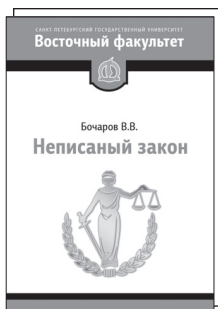
*Bailey C.-J.* On the *ing* and *yang* Nature of Language. Ann Arbor: Karoma, 1982.

*Bickerton D.* Language and Human Behaviour. L.: UCL Press, 1996.



- Crystal D.* English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
- Dahl Ö.* The Growth and Maintenance of Linguistics Complexity. Amsterdam: Benjamins, 2004.
- Heath J.* Review of: Peter Trudgill. Sociolinguistic Typology: Social Determinants of Linguistic Complexity // Anthropological Linguistics. Winter 2012. Vol. 54. No. 4. P. 404–407.
- Hockett C.* A Course in Modern Linguistics. N.Y.: Macmillan, 1958.
- McWhorter J.H.* Review of: Peter Trudgill. Sociolinguistic Typology: Social Determinants of Linguistic Complexity, Oxford: Oxford University Press. 2011 // Revista de Crioulos de Base Lexical Portuguesa e Espanhola. 2012. Vol. 3. P. 45–48.
- Trudgill P.* The Social Differentiation of English in Norwich. Cambridge: Cambridge University Press, 1974. (Cambridge Studies in Linguistics, No. 13).

*Николай Вахтин*



**Бочаров В.В.** *Неписанный закон: Антропология права. Научное исследование. 2-е изд.* СПб.: Издательство АИК, 2013. 328 с.

В некоторых дисциплинах выход учебного пособия является долгожданным событием. Юридическая антропология — одна из таких дисциплин, а выход в свет монографии доктора исторических наук, профессора Восточного факультета Санкт-Петербургского государственного университета Виктора Владимировича Бочарова «Неписанный закон: Антропология права. Научное исследование» — одно из таких долгожданных событий.

Первый по юридической антропологии научный труд в жанре учебного пособия был издан в 1999 г. и являлся переводом книги Н. Рулана [Рулан 1999], написанной им в 1988 г. Вторым (и в принципе пока последним) учебником была изданная в 2001 г. «Антропология права» А.И. Ковлера [Ковлер 2001]. Выходили статьи, издавались коллективные монографии, но ни один автор в течение одиннадцати лет не решился написать учебник, в то время как по другим (не менее трудным, например, философии права) дисциплинам учебники появляются если не каждый год, то раз в два года. Причины такого состояния дел в юридической антропологии остаются не до конца ясны. Думается все же, что виной всему междисциплинарный статус этой дисциплины и являющаяся предметом острых дискуссий методология юридико-антропологических исследований. Отрадно отметить, что ей

**Анна Владимировна Асессорова**  
Пермский государственный  
гуманитарно-педагогический  
университет  
annakharms@mail.ru

автор уделяет значительное внимание, предлагая свой взгляд и видение дисциплинарной структуры и такой методологии юридической антропологии, которая бы позволила «снять в известной мере расхождения между антропологами и юристами на существо права» (С. 11).

Концепция правового плюрализма, являющаяся стержневой для юридической антропологии, построена, как отмечает автор во вступительном слове, на «многообразном понимании права» и позволяет исследовать «процессы взаимодействия разных правопорядков в одном правовом поле» (С. 9). Цель книги, как определяет ее сам автор, состояла в «попытке выявить основные закономерности возникновения, функционирования и воспроизводства “неписаного законодательства” (обычного права) на любой стадии бытования социума» (С. 10).

Структура книги довольно необычна. Сначала автор дает изображение панорамы неписаного закона в актуальном времени, а затем показывает, как эта панорама сложилась. Изложение формирования неписаного закона построено по принципу спирали. После первой главы, в которой дается панорамный срез «неписаного закона», автор представляет предмет юридической антропологии через историю идеи, анализ ее дисциплинарной формы (прикладного и научного характера). Далее он переходит к изложению методологии (глава о методологии небольшая по объему, но не по значению), и затем, с новой высоты, на новом витке спирали, описывает «неписанный закон» структурно и системно, выделяя три базовых нормообразующих аспекта бытия человека: возраст, гендер, и родство.

Определяя понятие, или, как называет его автор, «формулу» «неписаного закона», он характеризует его как «неформальное правило, сложившееся в той или иной сфере человеческой деятельности, которое, тем не менее, жестко нормирует поведение акторов» (С. 17). Проблема неписаного закона применительно к традиционному обществу заключается в отсутствии ответа на вопрос о том, что же «мотивировало акторов скрупулезно соблюдать нормы обычного права при отсутствии институтов принуждения, осуществляющих социальный контроль» (С. 18), а применительно к современности — на вопрос о «связи обычного права, регулировавшего жизнь представителей традиционного сообщества, с неписанным законом, действующим в современных государствах» — «носит ли оно генетический характер либо обычно-правовые (неписанные) нормы порождаются пробелами в законодательствах современных государств, либо то и другое» (С. 19).

Впрочем, для юридической науки «основной вопрос» юридической антропологии заключается в том, следует ли считать обычай (обычное право) в «традиционных обществах» (а мы добавим — и в современных) собственно правом. Юридическая антропология дает положительный ответ на этот вопрос и делает своим предметом исследования его нормы, а для теории государства и права он является крайне дискуссионным, ведь он затрагивает «основной вопрос» всей юридической науки: что есть право. Здесь уместен будет небольшой экскурс в философию права. Правопонимание как главная юридическая конструкция и проблема имеет несколько парадигмальных решений, образующих три так называемых классических «типа правопонимания»<sup>1</sup>: этатизм, социологизм, юснатурализм.

*Этатизм* (фр. *état* — государство), важнейшими представителями которого были И. Бентам, Д. Остин, Г. Кельзен, П. Лабанд, Г.Ф. Шершеневич и др., определяет право как «совокупность норм (правил поведения), установленных или санкционированных государством в форме закона» [Поляков, Тимошина 2005: 45], основной критерий «правового» — наличие государственного принуждения как гаранта действия правовых норм. В этатизме право фактически отождествляется с государственным законом. В настоящее время он является доминирующей моделью правопонимания в системе российского юридического образования.

*Юснатурализм* (лат. *jus* — право; *natura* — природа), имевший на протяжении истории политических и правовых учений несколько редакций, постулирует существование «естественного» права, давая разное наполнение этому понятию. Так, в античности естественное право отождествлялось с «разумными законами природы, которым подчиняется все живое» [Поляков, Тимошина 2005: 40], в средневековье определялось как «воля Бога, которая находит отражение в человеческом разуме и в Священном Писании» [Поляков, Тимошина 2005: 40], в новое время — как «права и свободы человека, которые непосредственно вытекают из его природы», причем весь перечень прав и свобод можно было «прямо вывести из человеческого разума и он имел исчерпывающий, постоянный и неизменный характер, как постоянны и неизменны законы разума» [Поляков, Тимошина 2005: 41], в конце XIX в. и по сей день — как некий «правовой идеал», на который «необходимо равняться позитивному (государственно установленному) праву. Этот идеал понимался как совокупность нравственных требований к действующему в государстве праву» [Поляков, Тимошина 2005: 41].

---

<sup>1</sup> Тип правопонимания — «формирующийся в рамках определенной культуры образ права, который характеризуется как парадигмально обусловленными теоретическими признаками права, так и культурно обусловленным практическим (ценностным) отношением к праву» [Поляков, Тимошина 2005: 38].

*Социологический тип правопонимания* (формирующийся во второй половине XIX в. — Р. Иеринг, Г. Спенсер, а в XX в. — Л. Дюги, Е. Эрлих, Р. Паунд и др.) трактует право как «социальное явление, отражающее закономерные условия социального бытия и относительно независимое от государства»; право возникает «непосредственно в обществе, через отдельные правовые отношения постепенно складываясь в нормы обычаев и традиций», а затем «часть из них получает государственное признание и либо отражается в законах, либо санкционируется действующим законодательством, получая значение официальных источников права» [Поляков, Тимошина 2005: 48].

Во второй половине XX в. формируется «*постклассическая*» парадигма правопонимания («интегративная концепция права» Дж. Холла и Дж. Бермана, «феноменологическая юриспруденция» А. Раинаха, «правовой экзистенциализм» Э. Фехнера, «правовая герменевтика» А. Кауфмана и др.), предлагающая ряд интересных решений «основного вопроса» юриспруденции, но, по большому счету, обретающаяся в границах социологизма [Варламова 2010: 91]. В рамках последнего и происходят «антропологический поворот» в правопонимании [Честнов 2006: 45], или «антропологизация юридического дискурса» [Павлов 2012а: 32], и процесс становления нового — «антропологического — типа правопонимания» [Павлов 2012б: 71], решающую роль в котором сыграли как общенаучные концептуально-эпистемологические процессы, так и исследования по юридической антропологии, продолжением которых является работа В.В. Бочарова.

В рамках логики социологического позитивизма, которой автор придерживается, последовательно формулируется основной методологический принцип его правопонимания: «Фундаментальные истоки различий в понимании права лежат в абсолютизации трактовки социальной материи» (С. 127). С одной стороны, общество понимается как «некая универсалия, развивающаяся в историческом процессе от простого к сложному», и тогда «возникновение права рассматривается как признак цивилизации» (универсалистский подход), а с другой — как «воплощенное в уникальных образованиях (конкретных социумах и Культурах), функционирование и развитие которых не подвержено каким-либо общим законам и закономерностям», и тогда «ставится под сомнение позитивное значение прогресса» и «зарождается идея культурного релятивизма, отрицающая этноцентризм, утверждающий равноценность различных форм жизнедеятельности (Культур)» (релятивистский подход).

С точки зрения автора, первая логика нашла свое отражение в юридической науке, а вторая — в социально-культурной

антропологии (С. 66). Данное утверждение представляется небесспорным, так как взгляд на право в категориях прогресса вряд ли универсален для юридической науки. В большей степени такой взгляд характерен для естественно-правового типа правопонимания. Г.В.Ф. Гегель, например, утверждал, что прогресс в истории — это прогресс свободы: всемирная история «есть не что иное, как развитие понятия свободы» [Гегель 1935: 422], а «действительность конкретной свободы» — государство [Гегель 1990: 286].

В рамках универсализма понимание «неписаного закона» менялось от его возвеличивания (Афины) до признания за ним роли «правового эмбриона» (сравнительно-историческая школа). Вторая линия в понимании социальных явлений, которая, по мнению автора, свойственна социально-культурной антропологии, основывается на концепции «культурного релятивизма», отрицающего этноцентризм (европоцентризм), впервые «отчетливо просматривающийся в XVIII веке» в работах французских просветителей.

Акцентируя внимание на абсолютизации трактовок социальной материи как главной проблеме, требующей решения, автор предлагает переосмыслить категории «Культуры и Общества», которые «следует рассматривать как относительно самостоятельные субстанции, но в рамках единства социальной материи, выражающие ее различные ипостаси» (С. 127). Н.М. Гиренко, с мнением которого соглашается автор, отмечал, что «при всем множестве существующих определений Культуры, она неизменно противопоставляется Природе»; «Культура и Общество выступают как однопорядковые величины». Природе следует противопоставить «именно Общество, а Культура есть форма реализации конкретного общественного бытия». Общество и Культура соотносятся как содержание и форма (С. 127). К примеру, «на Западе Общество, развиваясь преимущественно за счет собственных ресурсов, в конечном счете породило новые культурные формы бытования — экономические, политические и правовые, Периферия лишь привлекает для развития своих Обществ данные формы», и, как показывает практика, «функционирование заимствованных культурных форм во многом трансформируется местной Культурой, порожденной соответствующим Обществом. Поэтому здесь заимствованное западное право, имея официальный статус, практически не оказывает реального влияния на реальную жизнь граждан, которая протекает во многом на основе обычно-правовых представлений» (С. 129).

Автор, основываясь на указанном разделении «Культуры» и «Общества», предлагает выделить два типа развития: социа-

тальный и культуральный. Первый осуществляется «вследствие изменений общественного контекста (Общества), вызванных переменами во взаимодействиях индивидов в освоении ресурсов для удовлетворения своих потребностей» (С. 129), что, в конечном счете, коренным образом преобразует отношения между людьми. «Доминантой» этих отношений оказывается конкуренция, пронизывающая все сферы деятельности. Соответственно это «Общество» порождает и адекватную ему «Культуру», т.е. экономические, политические и правовые формы, «обеспечивающие его бытование» (С. 130). Культуральный тип развития противоположен социетальному: «Культура является его главным агентом. Здесь заимствованные экономические, политические и правовые формы призваны воздействовать на Общество (традиционное общество), сделать его адекватным этой Культуре» (С.130). Воздействие, однако, оказывается не прямым и опосредуется традиционной культурой Общества.

Проведенный анализ имеет принципиальное значение для юридической антропологии, подчеркивает автор. «Во-первых, в рамках парадигмы Общество мы рассматриваем глобальную эволюцию права как социального института, опираясь прежде всего на сравнительно-исторический метод. В результате выявляются механизмы и закономерности исторической трансформации правовой материи (обычай, мононормы, мораль и т.д.) в государственный закон. Здесь же раскрывается связь между право-, социо- и политогенезом. Это открывает новые перспективы в изучении правогенеза, который, по сложившейся в юриспруденции традиции, рассматривается исключительно с точки зрения государственных законов (позитивное право). Во-вторых, в рамках парадигмы Культура рассматриваются наиболее устойчивые элементы правового бытия, которые обладают повышенной консервативностью, оформляя официальное законодательство или действуя за его пределами (в форме обычного права). Здесь исследуется правовая культура, которая в известном смысле резонирует с понятием “народный дух”, или “менталитет”. <...> Различная скорость исторической динамики Общества и Культуры во многом объясняет различия в законодательствах государств — субъектов социетального и особенно культурального развития» (С. 130). Соответственно, «при культуральном развитии “периферийные” системы, заимствуя западные правовые формы, переносят таким образом Культуру в несвойственный ей общественный контекст (Общество). При этом ожидается, что нормы западного права окажут тот же регулятивный эффект, что и в западных обществах. Однако в чуждом для них общественном контексте, выстроенном на принципе иерархичности, заимствованные нормы права бессильны» (С. 131).

В ракурсе принятой методологии автор предлагает определять право как социокультурный феномен, соотнеся его и с «Культурой», и с «Обществом». В первом случае право представляет собой «особое, юридическое воплощение культурно-обусловленных начал справедливости, господствующих в обществе» (С. 136), «субъективную ипостась Культуры» (С. 135). Во втором случае право выступает как «совокупность юридических норм, создаваемых законодательными и исполнительными органами», это ипостась «статутного права» (С. 136). Обычное же право — «центральное для юридической антропологии понятие» (С. 148) — это «система естественно сложившихся поведенческих норм в процессе функционирования устойчивого коллектива людей, объединенных по самым различным поводам (этническому, возрастному, родственному, профессиональному и т.д.), несоблюдение которых связано с потенциальным психологическим либо физическим принуждением как со стороны мифического авторитета, так и со стороны данного коллектива». Обычное право «безраздельно господствовало в традиционном, но продолжает наряду со статутным правом неформально действовать в индустриальном (и постиндустриальном) обществе» (С. 141).

Сравнительный анализ обычного права как традиционных, так и индустриальных (и постиндустриальных) обществ свидетельствует, по мнению автора, о наличии тождественных структурных характеристик. К примеру, «поразительное сходство с архаическим укладом обнаружилось и при изучении субкультур, в частности “мира тюрьмы”» (С. 161).

Столь детальное освещение концептуального и методологических аспектов книги связано с их исключительной важностью для юридической науки, так как потребность в развитии методологии в ней сейчас является крайне актуальной, о чем уже шла речь ранее. Не менее (а для юристов-практиков, возможно, даже более) важной и увлекательной является вторая часть книги, показывающая всю палитру норм обычного права и панораму «неписаного закона».

При всех бесспорных достоинствах работы уважаемого автора хотелось бы обратить внимание на некоторые положения. В рамках универсалистского подхода, к которому автор относит античные, римские и глоссаторские взгляды, обычай как источник права далеко не всегда оценивался как превосходящий по значимости писанный закон. В «Антигоне» Софокла действительно говорится о том, что «неписанный закон выше писаного и нарушить его страшнее смерти», но речь шла не об обычаях, а о законах, данных Богами, о сакральной сущности законов человеческих и их иерархически подчиненном значе-



нии по отношению к законам Богов, а также о «логике противоречия семейно-родового и государственного строя» [Лосев 2000: 815]. Древнегреческое правопонимание многообразно, трагедии Софокла — только одна его часть. Сократ, к примеру, отождествлял законное и справедливое: «Государство, в котором граждане наиболее повинуются законам, и в мирное время благоденствует, и на войне неодолимо» [Ксенофонт 1993: 135], и такой порядок вещей угоден Богам.

Более того, Сократ, вопреки предложениям своих друзей, организовавших ему возможность побега, исполнил решение суда, выпив яд именно потому, что «справедлив законосообразный порядок, т.е. полис как таковой. Несоблюдение существующих законов, даже несправедливых, ведет к разрушению этого порядка, т.е. к еще большей несправедливости» [Козлихин 2007: 30].

Платон в диалоге «Законы» говорит, что в государстве существуют наряду с официальными законами обычаи и привычки, но необходимо добиться максимальной регламентации жизни людей в полисе, установив законы для каждого поступка, ведь «виновником законодательства» является «не кто иной, как Бог» [Платон 1998: 386], а цель всех законов — добродетель [Платон 1998: 710].

Утверждение автора о том, что у римских юристов «обычай, по сути, приравнялся к писаному закону» (С. 68), также не бесспорно. В «Институциях» Юстиниана все право делилось на устное и письменное по форме источников. К устной форме относился и обычай, осуществлявшийся “*sine lege certa*”, “*sine jure certo*”, т.е. «когда не было ни определенного закона, ни определенного права» [Краснокутский 2000: 19].

Автор справедливо ссылается на Юлиана, говорившего, что «установившийся издревле обычай заслуженно соблюдается как закон, и это есть право», но, как показывают исследователи римского права, теория Юлиана «находилась во внутреннем противоречии с условиями времени ее появления (II в. н.э.)». «Римская традиция о народном суверенитете и законодательной власти народа давно была уже опровергнута диктатурой цезарей и продолжала жить лишь в теории. Власть, однако, не препятствовала изложению римским юристом теории обычая в его архаическом аспекте: в ряде случаев императоры поддерживали видимость сохранения прежних форм государственной власти» [Краснокутский 2000: 20].

Представляется, что и определение права как «особого, юридического воплощения культурно-обусловленных начал справедливости, господствующих в обществе» и как «совокупности

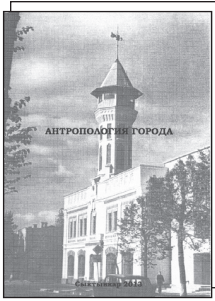
юридических норм, создаваемых законодательными и исполнительными органами» (С. 136), требует уточнения, ведь остается не вполне ясным, в чем специфика этого «юридического воплощения» и «юридичности норм», отличающих их от иных форм социального нормотворчества.

Впрочем, в междисциплинарных областях, к которым относится юридическая антропология, неизбежен «спор факультетов». Остается лишь пожелать автору продолжать исследования в этой необычайно интересной области.

### Библиография

- Варламова Н.В.* Типология правопонимания и современные тенденции развития теории права. СПб.: Славия, 2010.
- Гегель Г.В.Ф.* Философия истории // Собр. соч.: В 14 т. М.: Государственное социально-экономическое издательство, 1935. Т. 8.
- Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990.
- Ковлер А.И.* Антропология права. М.: Норма, 2001.
- Козлихин И.Ю.* Сократ // История политических и правовых учений. Учебник. СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2007. С. 22–31.
- Краснокутский В.А.* Источники римского частного права // Римское частное право / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М.: Юриспруденция, 2000. С. 14–39.
- Ксенофонт.* Воспоминания о Сократе. М.: Наука, 1993.
- Лосев А.Ф.* История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.: АСТ, 2000.
- Павлов В.И.* Ипостазирование правового бытия: личность в праве в постклассической перспективе // Евразия: духовные традиции народов. 2012а. № 1. С. 32–41.
- Павлов В.И.* Антропологический тип правопонимания как открытие человекомерности права // Право в современном белорусском обществе / Под ред. В.И. Семенкова. Минск: Бизнесофсет, 2012б. Вып. 7. С. 71–78.
- Платон.* Государство. Законы. Политик. М.: Мысль, 1998.
- Поляков А.В., Тимошина Е.В.* Общая теория права: Учебник. СПб.: Издательский дом СПбГУ, 2005.
- Рулан Н.* Юридическая антропология: Учебник для вузов: Перевод с франц. / Отв. ред. В.С. Нерсесянц. М.: Норма, 1999.
- Честнов И.Л.* Основные характеристики социальной антрополого-правовой методологии // Социальная антропология права современного общества / Под ред. И.Л. Честнова. СПб.: ИВЭСЭП; Знание, 2006. С. 37–58.

*Анна Ассессорова*



*Антропология города. Вып. 1: Культурные символы и образы в городском пространстве. Этничность и городская идентичность / Под ред. Ю.П. Шабаева, И.Л. Жеребцова. Сыктывкар: Институт ЯЛИ Коми НЦ УрО РАН, 2013. 192 с.*

В последние два десятилетия предметное поле отечественной этнологии существенно видоизменилось. Эти изменения связаны как с появлением новых методологических подходов к пониманию категории «этничность», так и с самой тематикой этнологических исследований, в которой все большее место отводится ранее не изучавшимся явлениям и процессам, а также изменению подходов к изучению объектов, уже включенных в поле зрения этнологов. Что касается последнего замечания, то оно в полной мере относится к сегодняшним попыткам изучения городских традиций, населения городов как культурных сообществ. Надо признать, что до недавнего времени интерес отечественных этнологов к городу был ограничен. И лишь в последнее время, когда культурная среда городов стала активно изучаться культурологами, социологами и специалистами иных общественных дисциплин, отечественные этнологи, которые ранее других специалистов обратили внимание на городскую культуру, вновь активно занялись городской тематикой.

Свидетельством тому стали не только отдельные публикации, включая монографические работы, но также конференции, посвященные антропологии города, выход в свет специализированных сборников научных трудов. И, наверное, весьма значимым событием, свидетельствующим об изменившемся отношении этнологов к изучению

городов, является издание первого выпуска «Антропологии города» — сборника статей, который подготовлен не в ведущих научных учреждениях страны, а в Институте языка, литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения РАН, где сформировался очень дееспособный коллектив этнологов.

В сборнике восемь статей, авторами которых являются исследователи из Апатитов, Архангельска, Казани, Москвы, Перми, Саранска, Сыктывкара и Таллина. За исключением автора из Апатитов, объектом изучения которой являлся город Оленегорск, и Москвы (статья об Элисте), все остальные написали статьи о городах, в которых живут сами. Но и московская участница авторского коллектива тоже писала о родном городе, ибо родом из Элисты. Тем самым авторы рассматривали города с двух позиций: как исследователи конкретного городского поселения, которые наблюдают город как бы со стороны, и как представители изучаемых ими городских сообществ, т.е. как включенные наблюдатели.

Авторские статьи предваряет довольно пространное введение, написанное редакторами сборника. В нем не только уделено внимание истории изучения городов и формированию антропологии города как самостоятельной дисциплины, но и ставятся вопросы касательно того, каким образом сегодня должно строиться этнологическое / антропологическое изучение городской жизни и городской культуры. Авторы введения справедливо замечают, что советские этнографы осуществляли это изучение через традиционные описания типов жилищ, одежды и пищи горожан, городских праздников, а также пытались показать формы проявления «этнической традиции» в отдельных культурно-бытовых средах и при этом выявить «уровень их традиционности». По их мнению, такой подход можно назвать «научной архаикой», поскольку в условиях унификации семейного и общественного быта вряд ли уместно говорить о тесной связи тех или иных элементов культурной среды города с конкретными этническими группами. «В современном городе этническая традиция не является тесно сопряженной с конкретной этнической группой, особенно если рассматривать “отдельные культурно-бытовые среды”, ибо, к примеру, рестораны национальной кухни посещают горожане, которые принадлежат к разным культурным сообществам, а праздник сабантуй празднуется как общегородской праздник. Видимо, гораздо важнее, — подчеркивают Ю. Шабаев и И. Жеребцов, — понять специфику городской традиции вообще и попытаться охарактеризовать “культурный код” каждого конкретного города, значимые изменения в его культурном ландшафте. Не менее важно понять, каково место этничности в маркировании

культурного пространства современного российского города, в формировании внутригородских культурных границ» (С. 6).

На наш же взгляд, названный выше подход имеет право на существование так же, как и любой иной.

Стоит заметить, что уже во введении научные редакторы как бы снимают с себя ответственность за содержание статей, указывая, что при подготовке сборника его авторы не руководствовались какой-то единой «концептуальной схемой», а были вольны самостоятельно определять общие подходы к описанию культурной среды городов. Но в большинстве статей так или иначе предпринимается попытка определить, какую роль играет этничность в культурной среде современного города.

В этом смысле, пожалуй, наиболее интересны три статьи.

Первая из них написана Ю. Шабаетым и носит название «Париж, Сайгон и Западный Берлин в одном городе: множественность образов и идентичностей в культурном пространстве столицы Коми». В ней делается попытка проанализировать символическое пространство города, опираясь на анализ категорий *идентичность*, *этничность*, *территориальность* (*культурное пространство*). В статье довольно основательно рассматривается история и культурное пространство Сыктывкара и показан такой интересный феномен, как дифференциация этого пространства по принципу «город в городе», которая основывается не только на пространственной локализации, но и на социальной и культурной географии города, а также на характере идентификации жителей.

Что касается роли этничности, то автор делает, видимо, спорное замечание о том, что в Сыктывкаре как столице национальной республики городской текст вторичен, а первичен текст коми культуры. При этом для производства, воспроизводства и манифестации этничности существуют, по его мнению, вполне благоприятные условия, поскольку этничность проявляет себя как на индивидуальном, так и на институциональном уровне (что естественно, поскольку в республиканской столице имеется достаточно много культурных институтов, чьи функции связаны с презентацией этничности). Столица Коми расположена в центре этнической территории коми народа, и окружающие ее сельские районы — это районы с преимущественно коми населением. Поэтому не случайно, что в восприятии сельских коми Сыктывкар — это главный город и естественный центр притяжения, что очень хорошо прослеживается при анализе языкового материала. Вместе с тем в этом городе коми составляют ныне лишь четверть жителей, хотя еще в 1930-е гг. они были большинством. В условиях горо-

да происходит активная языковая ассимиляция, и большая часть коми горожан в семье пользуются русским языком, а дети в однонациональных городских коми семьях не владеют или плохо владеют языком родителей, многие из них склонны к смене этнической идентичности. В такой ситуации сегодня разворачивается борьба за символическое пространство города, цель которой состоит в придании ему «национального колорита». «При этом усматривается очевидное желание использовать визуальные “этнические маркеры” не для фиксации границ локального культурного пространства группы, а для демонстрации символической культурной иерархии групп, к которой стремятся некоторые лидеры и идеологии этнических организаций, призванных представлять интересы сообществ, именем которых названы российские республики» (С. 28), — подчеркивает автор. Названное стремление во многом определяется не собственно городскими реалиями, а той формой восприятия республиканского социума, которой придерживаются местные власти и этнические антрепренеры.

И все же в данной статье ощущается явный дефицит внимания к анализу как индивидуальных образов городского пространства, так и к индивидуальным представлениям горожан о роли этничности в городском социуме. Она более рассматривается как групповой признак и групповой маркер.

Не менее показательным то, каким образом осуществляется этнизация культурной среды столицы Калмыкии Элисты. Автор статьи «Элиста: национальные символы в пространстве города» является известная московская исследовательница Эльза-Баир Гучинова. Элиста — единственный город Калмыкии. В отличие от столицы Коми, которая получила статус города в конце XVIII столетия, она стала городским поселением лишь в годы Советской власти — в 1930 г. Но так же, как и в Коми, характеризовать культурную среду столицы республики без соотнесения ее с современной историей калмыков и этничностью невозможно. Более того, как замечает автор статьи, «в наши дни, когда сельское хозяйство республики находится в упадке и новые рабочие места открываются в основном в Элисте, она становится в некотором смысле и самой Калмыкией» (С. 46).

Тот факт, что Элиста является «лицом» Калмыкии, стал одним из стимулов к конструированию ее нового культурного облика, который, по мысли местных идеологов, должен был отражать как культурную специфику региона, так и некие культурные и политические притязания элиты республики. И хотя это конструирование строилось на концепте «восточной культуры», в реальности оно представляло собой стихийный синтез

западных и восточных культурных традиций, что нашло отражение, к примеру, в новом гербе и флаге города: «В описании [герба. — В.С.] упоминается метод — восточный стиль как способ репрезентации народных символов. Это уточнение как раз и есть свидетельство неестественности, искусственности восточного, нарочитой стилизации “под Восток”. При этом каноны западной культуры для авторов естественны: даже форма геральдического щита восходит к тяжелым средневековым рыцарским аналогам и далека от легкого круглого щита монгольской конницы. Белый шелковый шарф — хадак — по форме напоминает пергаментные свитки Западной Европы, двери кибиток закрыты, что бывало только во время тяжелой болезни, родов или смерти хозяев. Конструирование традиции произвольно и небрежно оперирует цветовой символикой и историческим воображением. Такое же незнание традиции или неосознанное воспроизведение западных культурных стандартов проявляется в изобретении городского флага. Даже размер его — прямоугольное полотнище — отличается от принятых среди монголов квадратных флагов» (С. 47–48).

Не только символика, но и сама городская архитектура была ориентирована на местную конструкцию «восточного стиля». Облик Элисты стал преобразовываться в соответствии с заявленным культурным канонem, и здесь появились формы архитектуры центрально-азиатского или китайского образца. На центральной площади им. Ленина, как пишет Э. Гучинова, соорудили Золотые Ворота и Арку, похожие на конструкции Чайна-таунов американских мегаполисов. Подобные постройки не существовали в калмыцкой культуре, и переводчикам было трудно перевести название «Золотые Ворота». Поскольку в калмыцком языке слово «ворота» отсутствует, вместо «ворот» сооружение назвали по-калмыцки «Алтн Босх» («золотое строение»). Более приближена к калмыцкой традиции городская скульптура, значимая часть которой — эпические и мифологические герои.

Усилиями городских властей, как замечает автор, был создан «встречный ориентализм» — эклектичный стиль, рассчитанный на ориентальные представления европейского человека. Но названный стиль прочно связан с культурными ориентациями самих современных калмыков, в том числе и элистинцев. «Отлученные в советские годы от религии, от старого письма и памятников на этом письме, элистинцы получали образование на русском языке и в формате советских ценностей, становясь во многом носителями западно-ориентированных взглядов, и иначе представлять Азию не могли» (С. 61).

При этом стремление к экзотизации культурного пространства города, как полагает Э. Гучинова, есть форма позиционирова-

ния, с помощью которой власти республики отстаивают право региона на особость, на то, чтобы быть полноценным субъектом Российской Федерации. Культурный облик города во многом зависит именно от вкусов и желаний властной и интеллектуальной элиты, для которой этничность становится ресурсом власти.

Однако Гучинова, как и предыдущий автор, не пытается строить описание культурного ландшафта города, отталкиваясь от личности горожанина. При всей колоритности материала, характеризующего городское культурное пространство, никак не рассматривается индивидуальное восприятие этого пространства, индивидуальные культурные ориентации горожан, что существенно обогатило бы понимание культурной среды современной Элисты.

Третья статья, которая привлекает внимание читателя, — это статья пермского историка П. Корчагина и этнолога А. Черных «“О Пермь, чудесная ты Пермь, культурных полная тревожностей...”»: очерки антропологии города». В отличие от Сыктывкара и Элисты, которые не отличаются большой численностью населения и не могут считаться крупными промышленными центрами, Пермь еще в досоветский период была и губернским центром, и довольно крупным городом с развитой индустриальной культурой, символом которой стали знаменитые мотовилихинские заводы. При этом Пермь возникла и развивалась как «русский» город, который, однако, всегда имел в составе населения довольно значительные группы татар, башкир и представителей других этнических групп. Более того, в формировании городской культурной среды и городских традиций существенную роль сыграли поляки, немцы, евреи. И уже в XIX в., несмотря на полное доминирование русского населения, город стал многоэтничен и поликонфессионален. В начале XX в. Пермь в числе первых городов стала принимать азиатское население — перемещенных сюда японцев, китайцев, корейцев. Не случайно в Перми не было межнациональных конфликтов и еврейских погромов. «“Прививка толерантности” пермяков, — пишут авторы, — связана с тем, что в городе всегда соседом был поляк, татарин, немец, еврей» (С. 136).

Будучи городом с глубокими традициями, Пермь не могла не иметь собственной мифологии. Пермское городское мифотворчество авторы статьи делят на два периода, первый из которых пришелся на эпоху промышленной революции, а второй — на эпоху активной городской застройки в советские годы, но они подчеркивают, что рождение городских мифов продолжается и сегодня. Наиболее распространенным в пермской мифологии является сюжет строительной жертвы. Но ав-



торы явно недостаточно внимания уделили современному городскому мифотворчеству, которое связано не только с городским фольклором, но и с попытками местных интеллектуалов осмысливать городской текст.

Говоря о роли этнического фактора в советский период, П. Корчагин и А. Черных указывают, что она «то усиливалась, то уменьшалась в общественном контексте города» (С. 137), но как прежде, так и ныне не наблюдалось «статусного неравенства разных этнических групп». Более того, сегодня, как подчеркивают авторы, «не различаются возможности для политической и бизнес-карьеры, при устройстве на работу, получении образования. Материалы социологических исследований показывают, что во всех этнических группах, проживающих в городе, преобладает ориентация на равноправное сотрудничество представителей различных народов» (С. 143).

Что касается городской идентичности, то она меняется, поскольку если прежде город воспринимался как «речной», как город на большой реке и вся его жизнь была тесно связана с Камой, то нынче «жизнь города уходит в другие пространства» (С. 148), в связи с чем в Перми идет поиск новых культурных ориентиров и новых культурных измерений.

В содержательном плане к трем названным статьям тесно примыкает и статья о Казани, написанная профессором кафедры археологии и этнографии Казанского университета Г. Столяровой и казанскими историками Н. и С. Рычковыми. Помимо анализа динамики этнического состава населения города авторы обстоятельно рассмотрели «лингвистический ландшафт города» с точки зрения его лингвистической маркированности. Они показали, что «в лингвистическом пространстве Казани проявляются противоречия между процессами этнического ренессанса и коммерческими интересами субъектов рынка (как тех, кто формирует предложение, так и тех, кто формирует спрос), между требованиями федерального, регионального законодательства и трудностями их реализации на муниципальном уровне. В коммерческом секторе публичного пространства языковая ситуация в основном не соотносится с законом о двуязычии и уровнем спроса на этничность. Мультиязычие с трудом пробивает себе дорогу из-за экономической нецелесообразности, иногда реальной, иногда кажущейся, и обычного консерватизма общества» (С. 78).

К данной статье можно предъявить ту же претензию, что и ко всем другим статьям сборника: предлагая обстоятельную характеристику городской культурной среды, этнического состава жителей города, авторы очень мало говорят о самих горожанах — казанцах.

В статье научного сотрудника Центра гуманитарных проблем Баренц-региона О. Змеевой, посвященной стандартному описанию одного из городов на Кольском полуострове — Оленегорска, — не только рассматривается история и культурная среда этого небольшого промышленного города, но делается акцент на том, какую роль в городском пространстве играет тема «саамов и оленей», ибо данный город расположен относительно недалеко от «столицы» кольских саамов — села Ловозеро.

В небольшой по объему статье профессора Мордовского пединститута А. Мартыненко рассматривается, как менялась архитектурная среда Саранска в советские годы и какие изменения произошли в этнокультурном облике города в последние десятилетия.

Несколько выпадает из общей тематики изложения и анализа статья архангельских ученых Л. Поповой и Н. Терехихина «Образы “Акрополиса” и “Некрополиса” в сакральном ландшафте Архангельска». В ней делается попытка дать картину общей культурной среды Архангельска, но основное внимание все же здесь уделено описанию архангельских городских кладбищ.

Несомненный интерес у специалистов должна вызвать статья таллинского исследователя, магистра философии и руководителя НКО «Мир Культуры» И. Никифорова «Антропология русского населения Таллина: исторический габитус и семиотическая организация городского пространства».

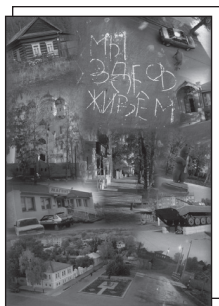
Автор в самом начале статьи подчеркивает, что «самая распространенная среди жителей Таллина фамилия — Иванов» (С. 154). Между тем русское население Таллина в эстонской публицистике порой воспринимается как некая абстракция, поскольку оно разнородно, не имеет явно выраженной общинной структуры, лидеров и институтов, хотя эстонские маркетологи и политики воспринимают русское население Таллина как системно организованное множество индивидов. Исследователь ставит своей задачей «антропологическое описание русского населения Таллина как своего рода невидимого меньшинства» (С. 156). В статье довольно подробно рассматривается история формирования русского населения столицы Эстонии, показана его меняющаяся роль в экономической, политической и культурной жизни города, но более существенное внимание уделено семиотике городского пространства и политике исторической памяти. Автор отмечает, что уже после присоединения Эстонской республики к СССР «история русского меньшинства в Таллине стала почти невидимой, маргинальной и корпоративной» (С. 170), а последующая политика «коренизации» способствовала превращению этнично-

сти в городе в важный политический и символический ресурс, что сразу же дало о себе знать после восстановления государственной независимости, когда началась «семиотическая борьба памятников» и завоевание семиотического пространства города доминирующей культурной группой. При этом, как замечает И. Никифоров, «непосредственная историческая коммуникация поколений русского меньшинства дореволюционного Ревеля и современного Таллина за прошедшие сто лет была практически утрачена, но по сей день дает о себе знать в семиотической организации города. Воссоздаваемый меньшинственный габитус ассимилирует пространственную маркировку города благодаря хорошо сохранившимся объектам материальной культуры, гражданской и промышленной архитектуры <...>.

Публично невидимый статус отражает распределение власти и подчинения, легитимизирует национальный характер государства и его элит. Русское меньшинство, лишённое большинства пространственных маркеров, атомизируется, возникает проблема «общинных лидеров», пространство коммуникации виртуализируется. В реальном пространстве этнически значимыми символами в настоящее время остаются православные церкви, школы с русским языком преподавания и ряд памятников, связанных с национальной историей. Официальное же городское пространство в рамках господствующей этнополитики служит скорее границей, нежели интеграционным мостом, способствуя как ассимиляции меньшинств, так и их обособлению» (С. 184).

Конечно, отсутствие некоей «общей схемы» или общего подхода к анализу культурной среды городов сказалось на том, что статьи сборника заметно различаются и по объёму привлекаемых материалов, и по глубине «антропологического осмысления» городской культуры. Вместе с тем очевидно, что, начиная большой и важный проект, его инициаторы не могли и не хотели как-то ограничивать авторские подходы к анализу городской жизни. При этом надо признать, что, несмотря на высказанные замечания, какой-то неудовлетворенности после прочтения всех статей сборника не испытываешь. Большинство из них содержательны, а авторское прочтение городских текстов, авторский подход к анализу культурной среды описываемых городов весьма интересны. Но самое главное, что отечественные исследователи, похоже, получили именно ту дискуссионную трибуну, которой до сих пор не хватало исследователям города.

*Виктор Семенов*



*«Мы здесь живем»: социальная антропология малого российского города / Отв. ред. В.А. Тишков.  
М.: РГГУ, 2013. 684 с., илл.*

### Общие сведения

Книга «Мы здесь живем»: социальная антропология малого российского города» под редакцией профессора В.А. Тишкова вышла в 2013 г. В ней собраны результаты многолетней работы коллектива исследователей из Института этнологии и антропологии РАН и РГГУ, основанной на поездках в малые города России. В ходе экспедиций, длившихся от двух недель до двух месяцев, в 2009–2011 гг. им удалось охватить 20 населенных пунктов, во многие из которых было проведено несколько выездов. Это не первая публикация по итогам данного проекта по изучению феномена малых городов: в 2010 г. были изданы два сборника, содержащие предварительные результаты исследования [Малый город 2010; Социальная антропология 2010].

Книга состоит из двух основных частей. Первая, озаглавленная «Малые города — большие проблемы», включает краткий обзор работ, посвященных городской тематике, описание методологии исследования и обобщение выводов о совокупности рассмотренных населенных пунктов. Вторая часть книги, «Города и горожане», представляет собой описания городов (каждого в отдельности), сгруппированные по федеральным округам.

#### Алиса Сергеевна Максимова

Национальный  
исследовательский университет  
«Высшая школа экономики»,  
Москва  
alice.mcximove@gmail.com

#### Положительные стороны и аудитория книги

Книга поражает своим масштабом. Несмотря на то что с точки зрения антропологии

полевые экспедиции были достаточно непродолжительными, работа проделана колоссальная. В исследованиях, посвященных российской провинции, в качестве объекта исследования обычно выступают один-два населенных пункта, максимум — несколько; авторы же создали описание почти двух десятков городов. В основе книги — сотни проведенных интервью, изучение обширных письменных и визуальных источников, недели, проведенные в городах.

Кому будет интересна эта работа? Можно предложить несколько вариантов.

1. Ученые, которые занимаются темой малых городов: планирующие исследование (найти интересный кейс, выбрав один из описанных городов или обнаружив аспект жизни, который можно изучать более подробно) и уже включенные в исследование (сравнить полученные выводы, попробовать распределить описанные города в своей типологии, проанализировать разные варианты развития населенных пунктов). Им нужно быть готовыми, впрочем, к тому, что потребуются серьезная и кропотливая дополнительная работа с книгой для систематизации данных и их интерпретации.
2. Широкая публика, заинтересованная в том, что происходит в российской провинции. Те, кто хочет узнать, как выглядит Россия сегодня «на самом деле», прорваться за передний план путеводителей по историческим и живописным местам страны, определенно найдут в книге много занимательной информации.
3. Жители малых городов. Только в случае города Нижние Серги авторы указывают, что сделанное ими описание было «проверено» местными жителями. Тем не менее это полезная критическая практика и устоявшаяся стратегия в современных социально-антропологических исследованиях: важно, что сами горожане думают об интерпретациях их жизни, находят ли они созданные репрезентации достоверными.

### **Методология исследования**

Авторы стремились описать жизнь малого города во всей ее полноте, поэтому было необходимо рассмотреть разные случаи. Подчеркивается, что среди объектов исследования есть города, в несколько раз различающиеся по численности населения и разные по этническому составу, промышленные и туристические места, древние и недавно получившие статус города населенные пункты.

Желание добиться многостороннего, подробного описания городов продиктовало выбор как кейсов, так и исследовательской

позиции. Прежде всего, стоит отметить, что использовался целый ряд методов: наблюдение, интервью, работа с официальными документами, статистикой, местными СМИ, личными архивами. Авторы утверждают, что статистические данные могут дать обобщенную картину, но не в состоянии передать все детали жизни, и акцентируют необходимость этнографического включения: «Только непосредственное и достаточно длительное общение с людьми способно дать представление о мотивах, ценностях и культурных стереотипах» (С. 8). Точка зрения исследователей, «глубокий интерес и большая эмоциональная вовлеченность» (С. 649), с которыми они относятся к повседневности изучаемого сообщества, соответствуют образу антропологического исследования, описанного Малиновским в «Аргонантах западной части Тихого океана» [Малиновский 2004: 23–43]. Именно поэтому странно видеть в книге достаточно частое использование официальных данных, перечисление фактов и цифр без научной интерпретации.

Исследованию не хватает более четко сформулированной цели и эксплицитно описанной концептуализации. Как следует из введения, целью являлось комплексное изучение городов — остается определить, на чем же оно сфокусировано. Авторы интересуются проблемами развития городов, их потенциал, возможности их поддержки; значимой темой является самоорганизация и самоуправление. Они ставят своей задачей анализ информации «об условиях жизни, а также о социально-экономических и культурных нуждах и жизненных стратегиях населения городов разных типов» (С. 7), «практиках жизнеобеспечения» (С. 8), «неформальной составляющей деятельности людей» (С. 27). Чуть позже обнаруживается еще один немаловажный социологический вопрос в духе Зиммеля или Тённиса: «Какой из двух типов образа жизни более свойствен малому городу — городской или сельский?» (С. 40). Набор предметов исследования, таким образом, широк и многообразен. Стоило бы уделить внимание их предварительному упорядочению и соотнесению с концептуальной рамкой проекта.

За пределами книги остаются теоретические идеи, которыми руководствовались ученые. Во вводной части авторы кратко излагают особенности исследований Чикагской школы, работ в области краеведения, этнографии провинции и городской культуры, урбанистики. Делают они это, однако, скорее с целью охарактеризовать научную базу и значимость своего проекта, а не для того, чтобы объяснить использование каких-то концепций и дистанцироваться от других предпосылок, разделяемых социальными учеными. О концептуальной рамке исследования же сказано только то, что она сочетает структурно-функциональный, компаративистский и диахронный подходы (С. 25).

В начале работы вводится несколько ключевых понятий: «качество жизни», «образ жизни», «культурное пространство», «партикулярная культура» (С. 24–25). Им дается определение, однако в книге остается не проясненным, почему выбраны именно они и как они связаны между собой. Из этих понятий не создается набор конкретных показателей, и превращение «качества жизни» в уровень заработной платы, обеспеченность жильем и досугом происходит незаметно, как само собой разумеющееся.

Как следствие, роль тех или иных частей описания понятна лишь интуитивно. Так, обширные исторические справки выглядят весьма слабо связанными с настоящим городов. О том, как исследователи определяют значение некоторых аспектов городской жизни, читатель узнает не сразу. В каждом случае, например, они обращают внимание на наличие явно выраженного и распознаваемого центра города. Но картина социальной жизни, в которой центр занимает принципиально важное место, достраивается только к концу книги, косвенным образом, когда авторы замечают: «Это город <...> без центральной площади и без главной улицы, в нем нет места, которое горожане могли бы назвать сердцем города, куда они сошлись или сбежались бы, чтобы вместе разделить минуты радости или беды» (С. 583).

В общем описании малых городов как особого феномена, сделанном в первой части книги, читатель едва ли найдет что-то неожиданное. Когда наблюдения переформулируются в виде обобщений, становится совершенно неявной ценность огромной полевой работы, так как мало что из выводов нельзя было предвидеть без экспедиции. Например, с точки зрения пространства и облика, почти все города располагаются на берегах рек, в них выделяются центр и окраины, обычно можно встретить мемориалы ВОВ, памятники Ленину, развитую садово-парковую культуру (С. 28–30). Авторы отмечают, что почти везде свернуты масштабы производства, уровень заработной платы низкий, есть проблемы с занятостью, обеспечением жильем, наблюдается убыль населения за счет миграции и превышения смертности над рождаемостью, горожане в основном разобщены, не проявляют гражданской активности.

С книгой сложно работать. Вначале создается впечатление, что главы будут иметь единую структуру, но описания городов выстроены по-разному, варьируется количество разделов и их названия (хотя набор тем остается более-менее неизменным). Экономическая активность может быть описана в разделе «Система жизнеобеспечения» (Черняховск), «Экономика» (Светлогорск) или «Социально-экономическая, политическая и культурная жизнь» (Боровичи); культурная жизнь то характеризуется в специальном разделе, то смыкается с образованием или спортом.

Этот недочет наводит на вопрос о том, как обобщать результаты социально-антропологического исследования нескольких городов. Представляется, что здесь помог бы подробный, качественно составленный тематический указатель в конце книги. Он мог бы направлять не только по основным параметрам описания («пространственная организация», «демография», «транспорт»), но и давать подсказки о том, где искать сведения о более частных феноменах — «огороды», «такси», «репетиторство», «наркомания». Другим способом презентации полученных описаний, едва ли подходящим для формата книги, могла бы стать сводная (огромная) таблица, упорядоченная по городам и разным сферам социальной, экономической, культурной деятельности.

В разделах, посвященных идее и методологии исследования, подчеркивается, что проект играл значительную образовательную роль (С. 27). Книга могла бы продолжить это направление, но, к сожалению, упускает эту возможность. Для этого в ней не хватает описания полевой работы: читатель представляет, *что* именно было сделано, но не узнает, *как* это было сделано. Было бы полезно понимать, как устанавливались контакты, какие были проблемы при «входе в поле», как были устроены гайды, разработанные для разных горожан, даже если они задавали лишь общий ход разговора, по какому принципу велась работа с документами и т.д.

Наконец, существенным является вопрос о том, как исследуемые воспринимали исследователей. Интересно, что когда эта тема затрагивается, становится очевидно, что это ценная информация не только о том, как «делается этнография», но и об объекте: жители одного города привыкли к вниманию, так как их случай считается «образцовым», а жители другого удивляются тому, что кто-то хочет изучать их жизнь (С. 363).

С точки зрения отношений исследователя и объекта, примечательно, что город Нижние Серги, единственный признанный в книге однозначно «неблагополучным», является родным для руководителя проекта. Состояние города в 2010 г. сравнивается с тем, каким его знал В.А. Тишков раньше, авторы выражают крайнюю озабоченность состоянием разрухи и упадка, которое они наблюдают. Здесь важно, отрефлексирована ли ситуация, когда исследователь вовлечен в объект и имеет возможность наблюдать его развитие на протяжении жизни. Если в других местах участники проекта только слышали о том, как изменилась жизнь в связи с последствиями перестройки, кризиса, закрытия производств, то здесь им самим непосредственно доступно представление о «лучшем прошлом» города.

Тот факт, что авторы решили не создавать типологию городов и не присваивать ярлыки отдельным случаям, с одной сторо-



ны, затрудняет понимание работы в целом, но, с другой стороны, дает возможность для продолжения интерпретации в процессе чтения и дальнейшей работы с описаниями. Обобщение анализа городской жизни в едином выводе ограничивало бы восприятие описания.

Другие исследования российских малых городов представляют альтернативный способ работы с эмпирическим материалом. Например, В.Л. Глазычев сводит описание сведений о малых городах к одному основному выводу (так, Мышкин для него — это случай успешного развития за счет туризма) [Глазычев 2005: 22–24]. Но надо понимать, что это удачные кейсы, необходимые для анализа и иллюстрации того, как могут быть идентифицированы проблемы и реализованы проекты регионального развития. То, что дозволено урбанисту, не дозволено антропологу: здесь невозможно вынесение за скобки противоречий и многообразия аспектов городской жизни.

Сходным образом для проектов по изучению местных сообществ или муниципального управления, представленных в российской социальной науке работами Ю.М. Плюснина и С.Г. Кордонского [Плюснин 2000; Муниципальная Россия 2009], характерно следование исследовательскому вопросу или сюжету, а отдельные города имеют второстепенное значение и выступают в роли кейсов.

Авторы данного социально-антропологического исследования следуют не за тематическими сюжетами, а за городами. Это приводит к некоторым проблемам: необходимо регулировать, насколько детальное создается описание и на каком уровне производится интерпретация.

### **Множественность авторов, жанров, масштабов описания**

Содержание описаний задается не только особенностями объекта, но и тем, как проходила полевая работа и какие данные о городе удалось получить. Участники экспедиций пользовались общим руководством, призванным обеспечить единые концептуально-методологические основания проекта (С. 11). Тем не менее в книге заметно расхождение их взглядов: они по-разному смотрят на объект, по-разному представляют свои задачи, по-разному пишут. Это делает текст неоднородным, что порой слишком заметно: одни авторы склонны романтизировать образ города (Боровичи или Нижние Серги), другие стремятся выстроить дистанцию между собой и объектом, балансировать между включенностью и отстраненностью, а третьи ограничиваются изложением фактов и цифр.

Одновременно с наличием многих авторов текст обладает неудобным свойством сочетать несколько жанров даже внутри

одной главы. Оставив в стороне нейтральный стиль социально-научного описания, помимо него условно можно выделить:

- 1) жанр экскурсии или путеводителя: «Сейчас перед нами один из лучших образцов сохранившихся в провинции гостиных дворов, построенный в стиле позднего классицизма» (С. 199);
- 2) лирические комментарии: «Проходя мимо таких домов, невольно думаешь, что это подарок судьбы — просыпаясь каждое утро, видеть такую красоту» (С. 578);
- 3) жанр передовицы: «В 1992 г. было выпущено 1688 т полотна, улучшилось его качество и расширился ассортимент» (С. 202);
- 4) жанр заметки в местной газете: «Растроганная восторженным приемом публики, певица сказала после концерта: “Такого замечательного и доброго зрителя у меня еще не было”» (С. 440);
- 5) канцелярит, которым, как правило, изложены функции местной администрации, задачи программ в области культурной, молодежной политики или развития предпринимательства (С. 542–546).

После долгого чтения возникает подозрение, что эти жанры сопresentствуют неспроста. Действительно, в некоторых случаях оказывается, что фрагменты текста заимствованы (без должного оформления цитирования) из разнородных источников: официальных документов, описаний достопримечательностей на сайтах, сообщений в СМИ. Примером может служить изложение ситуации вокруг поезда «Сапсан» на с. 211, наполовину составленное из фрагментов статьи в журнале «Русский Newsweek» [Вернидуб 2010]<sup>1</sup>.

Наконец, авторам не всегда удается контролировать масштаб описания. Наряду с тем, что делаются некоторые обобщения, в тексте постоянно проявляется чрезмерная детальность: перечислены конкретные книжные поступления в библиотеку Карачева (С. 442), приведено выразительное описание столовой и уборной (С. 579) или тщательно охарактеризовано скульптурное изображение лося в Нижних Сергах (С. 30). Такие подробности должны были бы иллюстрировать выводы и служить свидетельством того, что удалось пронаблюдать в городе, но порой вызывают недоумение, кажутся неуместными.

Впрочем, с точки зрения указанных выше параметров — единства исследовательской и авторской позиции, жанрового едино-

---

<sup>1</sup> Электронную версию можно найти на сайте РЖД: <[http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE\\_ID=2&layer\\_id=5050&log=INF0&id=240763](http://press.rzd.ru/smi/public/ru?STRUCTURE_ID=2&layer_id=5050&log=INF0&id=240763)>.

Стоит отметить, что задачи систематического рассмотрения текста книги на предмет заимствований не ставилось. Указанный фрагмент и несколько других (С. 230, 237, 542, 545) были обнаружены случайным образом.

образия и сбалансированного масштаба описаний — отлично написана глава, посвященная Унече и Стародубу, также на фоне других выгодно выделяются, например, описания Остогожска и Урюпинска.

### Интересные наблюдения и гипотезы

В заключение хотелось бы выделить несколько интересных сюжетов, важных для понимания социальной жизни в малых городах, но упомянутых лишь в отдельных случаях и не получивших развития. Представляется, что постановка вопросов по отношению к этим наблюдениям и предварительным выводам, а также дальнейший сбор и анализ данных могут быть весьма плодотворными.

Некоторые феномены, связанные с организацией пространства, могли бы стать предметом самостоятельных исследований. Авторы обращают внимание на любопытное устройство Светлогорска, где «жилая» часть города отделена от курортной. Это не только влияет на практики горожан и способы застройки, но и позволяет справиться с некоторыми негативными эффектами от обилия туристов: в сезон цены в магазинах растут, но только в «туристической» части (С. 102). В то же время функциональное разделение пространства приводит к опасениям по поводу того, что архитектурно выдающаяся, культурно насыщенная часть города окажется в скором будущем недоступной для обычных жителей.

Другая общая для всех изученных городов тема, которая проявляется в каждом случае по-разному, — это религия. Судя по результатам данного исследования, ситуации в религиозной сфере могут существенно различаться. Более тщательного анализа требуют вопросы о том, от чего зависит религиозность населения, в том числе — от каких исторических факторов. Почему где-то наблюдается «религиозный ренессанс», а где-то жители равнодушно относятся к церкви? Какова роль религиозных организаций, как они встроены в жизнь города?

Наконец, хотелось бы обратить внимание на то, как организованы социальные связи. Исследователи делают выводы о сегментации общества в малых городах, недостатке прочных связей с соседями, знакомыми, коллегами (С. 261). Особого исследования требует то, в каком виде такие связи продолжают существовать, что они теперь значат. Наличие сильных горизонтальных связей в книге соотносится с социальной активностью горожан. Интересное наблюдение сделано об Остогожске, где авторы выделили две группы — культурно-образовательный и экономический актив, за пределами которых люди живут и действуют обособленно (С. 290–291). Как этот «актив» сформировался? Как

он взаимодействует с официальными властями, насколько он неформален? Можно ли попытаться проследить наличие такой же ситуации-шаблона в других городах?

В поисках способов самоорганизации жителей исследователи обнаруживают успешный пример в Урюпинске: территориальные общественные самоуправления (ТОСы), которые не только следят за состоянием домов и дворов, но и занимаются совместным досугом, следят за порядком, проводят работу с молодежью (С. 520–522). ТОСы оказываются весьма эффективной формой общественной организации. Пока что неясно, что стало причиной успеха и может ли этот образец качественно работать в других городах; немного информации о том, кто и почему наиболее активно принимает участие в деятельности ТОСов.

Любопытно, что почти ни в одном из описанных городов, как замечают исследователи, нет негативного отношения к мигрантам, ксенофобии. Тем не менее граница между «своими» и «чужими» — принципиально важный для изучения данного объекта вопрос. Так, в одной из глав авторы формулируют гипотезу о том, что в относительно «новых» городах адаптация приезжих проходит легче, их проще включают в социальные отношения, связывающие жителей: в Остогожске действуют исторически сложившиеся порядки, «старинный уклад», сопротивляющийся принятию внешних людей (С. 333), в то время как в Лисках таких проблем нет.

### Библиография

- Вернидуб А.* Этот поезд во гневе // Русский Newsweek. 2010. № 15. С. 44–47.
- Глазычев В.Л.* Глубинная Россия: 2000–2002. 2-е изд., испр. М.: Новое издательство, 2005.
- Малиновский Б.* Аргонавты западной части Тихого океана. М.: РОССПЭН, 2004.
- Малый город в современной России: предварительные результаты полевых исследований / Ред. М.Ю. Мартынова, Е.С. Данилко. М.: ИЭА РАН, 2010.
- Муниципальная Россия: образ жизни и образ мыслей. Опыт феноменологического исследования. М.: ЦПИ МСУ, 2009.
- Плюснин Ю.М.* Малые города России. Социально-экономическое поведение домохозяйств, ценностные установки и психологическое состояние населения в 1999 г. М.: Московский общественный научный фонд, 2000. (Библиотека местного самоуправления. Вып. 27).
- Социальная антропология современного российского города: итоги полевых исследований / Ред. О.Ю. Артемова, Н.А. Антропова. М.: ИЭА РАН, 2010.